

ГЕОРГИЙ БАЖЕНОВ

ХВАЛА
ЛЮБВИ
(СБОРНИК)

Георгий Баженов
Хвала любви (сборник)

«Баженов Георгий Викторович»

2008

ББК 84

Баженов Г. В.

Хвала любви (сборник) / Г. В. Баженов — «Баженов Георгий Викторович», 2008

ISBN 5-7838-0142-9

Знаток любви и женского сердца, известный русский писатель Георгий Баженов преклоняется перед красотой и самоотверженностью Женщины. Гимн любви, гимн верности и чистоте человеческих отношений – основа всех произведений Баженова. Среди них – его знаменитые романы «Любина роща» и «Похищение любви», а также близкие им по духу романы «Сестры» и «Музы сокровенного художника».

ББК 84

ISBN 5-7838-0142-9

© Баженов Г. В., 2008

© Баженов Георгий Викторович, 2008

Содержание

Музы сокровенного художника	5
Глава I	5
Глава II	13
Глава III	21
Глава IV	33
Глава V	103
Глава VI	117
Конец ознакомительного фрагмента.	120

Георгий Баженов

Хвала любви

Музы сокровенного художника

Роман-портрет

Глава I

Зазвонил телефон, Вера подняла трубку.

– Тетя Вера, можно мы приедем? – Ванюшкин голос звенел как колокольчик.

– Конечно, можно, – ответила Вера. И улыбнулась устало, отрешенно: – Конечно, приезжайте.

– А папа дома?

Что она могла ответить?

– Нет, папы дома нет. Мы одни.

– А что делает Баженчик?

– Вот, стоит рядом, тербит меня за подол. Мы пол моем.

Полуторогодовалый сын Веры, действительно, стоял рядом и размахивал тряпкой, так что брызги летели во все стороны.

– Тише, тише, сынок... Ишь, развоевался! – Вера успокаивающе погладила его по голове.

– Ага, я развоевался, – самозабвенно подтвердил тот.

– Так мы едем! – еще звонче прокричал Ванюшка и положил трубку.

Вера какое-то время постояла у телефонной полки, при этом руки у нее висели как плети, но вот она встряхнулась от наваждения, улыбнулась бесшабашной улыбкой:

– Ну, сынок, будем дальше пол мыть?

– Будем! – и он со всего маха бросил тряпку в ведро: фонтанным веером брызнула оттуда вода.

Вера не стала ругать сына (что с него возьмешь?), подхватила ведро и тряпку и принялась домывать полы. Сын копошился рядом – босой, с мокрыми ногами, в одних трусах, даже без майки, хотя температура в комнате была не ахти какой жаркой. Вера давно решила: не сюсюкать над сыном, пусть растет, как растет, из-за чего не раз, конечно, ругались они с Гурием, с мужем.

Да что теперь вспоминать... Есть ли он теперь, муж? Кто его знает. Подхватился – и уехал. А куда, зачем, на сколько – спроси ветра в поле.

Но не привыкла унывать Вера: чему быть – того не миновать. Высоко подоткнув подол платья, она миглом домывала пол в комнате и, пятась, выбралась в коридор. И коридор решила помыть, и кухню, и ванную с туалетом: легче на душе становится, когда квартира сияет чистотой, порядком и уютом.

Из комнаты напротив вышел сосед Виктор:

– Ах, Верка, – прищелкнул он языком, – ну и ножки у тебя!

– Не смотри! – отмахнулась Вера, продолжая мыть, как ни в чем не бывало.

– Ну да, не смотри, – косился Виктор. – Не показывай – смотреть не буду. Да, занозистая девка! – он подхватил на руки Бажена: – Ну что, герой, мамке, как всегда, мешаешь?

– Я помогаю...

Вера распрямилась, тыльной стороной ладони провела по упрямо спадающей на лоб пряди – волосы у нее были густокаштановые, пышные, схваченные сзади в узел красно-перламутровой заколкой, – улыбнулась Виктору:

– Забери его к себе. А я домою тут...

– Пойдешь к нам? – затормошил сосед малыша: – А? Пойдешь или нет, говори?!

– А велосипед дашь? – сказав это, Важен проказливо-недоверчиво смотрел на взрослого дядьку.

– Дам. А как же.

– Пошли тогда, – и стал нетерпеливо подталкивать Виктора к его комнате.

Квартира была коммунальная, трехкомнатная: в одной комнате жили Божидаровы (Вера, Гурий, Важен), в другой – бездетные, однако порядком пожившие на свете люди – Михаил Иванович и Антонина Ивановна, а в третьей – Виктор с женой Галей и сыном Димкой. Димка с утра ушел в детский сад, так что велосипед его можно пустить в прокат без всякой опаски: обычно Димка неохотно делился игрушками.

Дверь в свою комнату Виктор оставил открытой. Важен взгромоздился на трехколесный велосипед, однако ногами до педалей не доставал, и Виктор, придерживая Бажена, сам катал велосипед по ковру, при этом не забывал разговаривать с Верой:

– Что-то Гурия не видать, а, Вера?

– Долго теперь не увидишь, – с придыханием, моя полы, обозленно-весело ответила Вера.

– В командировке, что ли?

– Ага, в командировке, – усмехнулась Вера. – Такая командировка, лучше не придумаешь... Сбежал наш Гурий!

– Как сбежал?! – Виктор от изумления даже выглянул из комнаты и опять не смог не воскликнуть: – Ну, Верка, бесстыжая! Да спрячь ты ноги свои, дура-баба!

– Очень просто сбежал, – не обращая внимания на восклицание соседа, продолжала Вера: – «Не могу больше с вами жить!» – хлоп дверью – и был таков. Ван-Гог с большой дороги!

Виктор рассмеялся.

– Нашел чему смеяться, – проворчала Вера.

– Дядя Витя, катать, катать! – требовал Важен, потому что Виктор на некоторое время отвлекся от своих «обязанностей». Вновь взявшись за велосипед, Виктор объяснил Вере:

– Да это я так, не в обиду рассмеялся... Ты говоришь: «Ван-Гог с большой дороги!» Ну, я и... Смешно!

– Ага, художник чертов! Представляешь, Вить, не живется ему, как всем. Плохо ему с нами! И с Ульяной плохо было, и с Ванюшкой, с Валентином плохо. А с кем тогда хорошо?! В гробу ему будет хорошо, на том свете, вот где успокоится наконец, лысый вурдалак!

И опять Виктор не выдержал – рассмеялся.

Он и вообще-то был смешливый, добрый, легкий на сердце человек, сосед Виктор. Работал он в милиции, старшим сержантом, обычно дежурил на «боевом» посту вблизи станции метро. Жена его, Галя, работала диспетчером вневедомственной охраны (на пульте противоквартирных краж), у них было двое детей – Андрей и Димка. Старший, Андрей, воспитывался на юге, бабушкой Галки; а Димка рос здесь. Примечательно, что Виктор с Галей недавно развелись, но продолжали жить в одной комнате (а где взять жилье?). Платил Виктор Галке алименты – тридцать три процента за двоих сыновей, хотя старший мальчик не жил с ними. Галка не высылала бабушке деньги на воспитание Андрея, наоборот, бабушка умудрялась помогать дочери, высылала кое-что сюда, в Москву. «Хорошо устроилась, – говорил обычно про жену Виктор. – Двух маток сосет...»

Посмеявшись, Виктор с подходом поинтересовался (Вера перешла мыть пол на кухню):

– Может, он к Ульяне подался? К бывшей супружнице?

– Как бы не так! Он шарахается от нее, как черт от ладана. Да и вон только что Ванюшка звонил. Хотят приехать... Если что, они бы первыми знали. Не-ет, в бега он подался. Куда-нибудь подальше от нас всех, от детей... К загадочным своим мадоннам, с ними слаще, видать, пропащее его дело.

– А так вообще-то он вроде неплохой мужик, а, Вер? – осторожно закинул удочку Виктор.

– Все вы неплохие мужики. А вот как нарожаем вам детей – начинаете куролесить, будто черти на горбу скачут. Тьфу!

– Мама, не ругайся, нехорошо, – строго произнес Важен и, насупившись, погрозил ей указательным пальцем.

– Не буду, не буду, – отходчиво улыбнулась Вера, направляясь в ванную – поменять в ведре воду.

– А Ванёк с Вальком приедут – что им скажешь? – поинтересовался Виктор у Веры.

– Ванек-Валек, Ванек-Валек, – стал самозабвенно повторять имена братьев Важен.

– Вот ума-то и не приложу, что им сказать. Ванюшка по телефону спросил: «А папа дома?» Нет, говорю, мы одни. А вот приедут – что им сказать?

– Да, задача, – нахмурился сосед. Он подумал: «Эх, мне б такую жену, как Верка! Да я бы горы свернул... А Гурий – сбежал. Чего, спрашивается?» А вслух посоветовал: – Скажи, в командировке – и все дела.

– Да уж, видать, придется.

– Может, еще вернется, одумается? – Виктор по себе знал, сколько раз хотелось плюнуть на все, на пропащую свою жизнь с Галкой – и вдруг, наоборот, начал надеяться наладить эту жизнь, сделать доброй, взаимно счастливой, хорошей. Но не получалось.

Покончив с уборкой, Вера ополоснулась под душем, весело-восторженно брызгаясь под жгучими сильными струями, напевая вполголоса цыганский романс: «Только раз бывают в жизни встречи, только раз судьбою рвется нить...» Виктор слышал эту ее песню, слышал и то, как весело, звонко разбиваются струи о горячее молодое тело Веры, и было ему сладкотомительно и, пожалуй, даже жарко до озноба, которым в иные секунды пробирало его с ног до головы. Потом Вера вышла из ванной, словно выпорхнула: в ярко-цветастом длиннополом халате, быстрая, свежая, с румяно-упругими, как яблоки, щеками, с блистающими в улыбке белоснежными зубами, с глазами, в карих наплывах которых черными огнями горели антрацитовые зрачки. Вышла, встряхнула головой, и пышные ее каштановые волосы струями полились по плечам, по груди, по всему молодому яркому телу.

«Ах, Верка, Верка!» – безнадежно восхищался сосед Виктор.

Коммунальная квартира блестела чистотой, и на душе, почувствовала Вера, действительно стало отрадней и спокойней. Продолжая напевать цыганский романс, Вера направилась на кухню, поставила на плиту чайник. В этот момент в дверь квартиры напористо-весело зазвонили.

– Ну, братцы твои приехали. Иди, встречай! – крикнула Вера Бажену.

И тот, смешно повторяя: «Ванек-Валек приехали, Ванек-Валек приехали», со всех ног бросился к входной двери и запрыгал вниз, поджидая, когда подойдет мать и щелкнет английским замком. В нетерпении он стучал кулаком в дверь и говорил: «Сейчас, сейчас!» («Час, час!»)

Вера дверь открыла, и ребята влетели в квартиру, как ураган. В черных вельветовых брюках, в ярких красно-белых куртках, в спортивных вязаных шапках, в красно-белых кроссовках, они в первые секунды всегда воспринимались как братья-близнецы, хотя в действительности были погодками: Валентину – одиннадцать лет, Ванюшке – десять. Похожими их делала одинаковая одежда, однако сами по себе они были очень разные: Валентин – повыше ростом, посветлей, поласковей, с туманно-голубыми глазами, с мягкой хитроватой или ироничной улыбкой; Ванюшка – крепкий, резкий, с темными глазами, серьезный и не улыбочивый. Правда, если улы-

бался, то доверчиво до наивности, простодушно. Учились они так: Ваня – получше, Валя – похуже.

Как влетели в квартиру, Ванюшка сразу подхватил Бажена на руки, стал тормошить его, тискать, обнимать, а тот, глупыш, округлил глаза и все повторял:

– Я большой, у-у-у, я большой! (Получалось: «Я бо сой, у-у-у, я бо сой...»)

Братья смеялись:

– Ты босой? Без ботиночек? Ну-ка, давай наденем ботиночки. – Хотя прекрасно понимали, что малыш говорит: он «большой», а не «босой».

Важен сердился, мотал головой, капризничал: не хотел он надевать никакие ботиночки.

– Оставьте его, ребята, – сказала Вера. – Пусть ходит без туфель. Он большой, любит бегать босой! – добавила в рифму и рассмеялась.

– Я бо сой... я бо сой! – повторял, благодарный матери, Важен и тоже смеялся.

– Ну, ладно, ладно, клоп, поверили тебе! – нажал ему на нос Валентин, и Ванюшка опустил его на пол.

Вера отправилась на кухню – заваривать чай, да и блинов не мешало бы испечь к чаю, а дети побежали в комнату – играть. Самое удивительное: играли они как бы на равных, из-за чего происходили бесконечные ссоры и стычки: Важен не хотел уступать старшим братьям, а те – малышу. Игры, правда, были самые простые, чтобы их мог понимать Важен, но от этого страсти не становились меньшими: все время кто-то кричал, кто-то капризничал, а кто-то плакал (Важен, конечно).

На аппетитный запах блинов заглянул на кухню и сосед Виктор:

– Угостишь, Вер? Моя совсем обнаглела: сама ест, а меня будто и нет рядом.

– Ну-ка, давай вот этот, первый! – подала ему Вера блин, который, хотя и говорят, что «первый блин комом», оказался распрекрасным.

– Да-а, вкуснотища! – обмакнув блин в варенье и в два приема справившись с ним, Виктор блаженно закатил глаза. Вера подложила ему еще блинов, налила чаю.

Внешностью Виктор напоминал сиамского кота: белесый, с темными подпалинами бровей, с пепельными тонкотопорщающимися усами и, конечно, с дымными глазами. Так что, когда он расправлялся с блинами, сладострастно двигая усами и закатывая дымные глаза, на кота походил еще более. Поглядывая на него, Вера добродушно усмехалась.

– Эй, гоп-компания, а ну-ка живо за стол! – прокричала Вера ребятам. У них было принято: если соседи дома – тогда каждый ест в своей комнате, чтоб не мешать друг другу, а если никого нет – можно расположиться и на кухне: удобней.

Перекусив, Виктор пошел одеваться – к сожалению, развел он руками, ему пора отправляться на службу. В шинели, туго перетянутый ремнями, в фуражке с кокардой, с кобурой на боку, он выглядел куда как молодцом. Тем более при такой внешности: высок он был, строен, молод. Загляденье, а не сосед!

– Иди, иди, ишь расфрантился, распустил перья! – махнула Вера рукой.

Виктор, делать нечего, весело козырнул и только было открыл дверь, как из Вериной комнаты, словно оглашенная, вылетела святая троица братьев.

– О, дядя Витя, пистолет! Покажи! – закричал Ванюшка.

– Покажи, покажи! – вторил ему младший братец Важен.

– Пистолета нет. Одна кобура. – Виктор расстегнул кобуру – показал: точно, пустая.

– У-у, какой же ты милиционер?! А вдруг бандиты? – разочарованно протянул Ванюшка. На что старший его брат Валентин усмехнулся:

– «Бандиты»! Какие днем бандиты?! Вот ночью – другое дело.

– Не в этом тайна, – объяснил Виктор. – Пистолеты у нас в «дежурке» хранятся. Вот приду – мне его и выдадут. А бандиты, между прочим, они и днем орудуют. Так что... Честь имею, пацанва! – И, козырнув, старший сержант милиции захлопнул за собой дверь.

– Ну, ребята, быстро, быстро! – поторопила их из кухни Вера. – Блины стынут...

Ах, как они ели, когда сидели все вместе, одной семьей! По одному ребят не усадишь, а устроятся втроем – только за ушами трещит. Так было и летом, в Северном, где они прожили целых три месяца, так было и сейчас... Блины они макали в земляничное варенье (землянику, кстати, сами собирали летом): темно-янтарное, золотисто-тягучее, оно густо охватывало блины, которые таяли во рту, как божий нектар. Даже Важен съел три огромных блина, а уж в варенье измазался – слов нет.

– Эх, ты, клоп! – говорил, к примеру, Ванюшка. – Не умеешь блины есть.

– Я умею («Я мумею»), – не соглашался тот.

– Вымазался, как кутенок, – добавлял Валентин и пытался салфеткой вытереть Бажена. Тот сопротивлялся:

– Я сам! Сам! – И, действительно, вытирался, только половина варенья все равно осталась на ладошках и пальцах.

Потом пили чай. Горячий, душистый, разливали его по блюдечкам, дули потихоньку, чтоб остыл. А Баженчик так дул усердно, что брызги летели по сторонам.

– Тихо, обожжешься! – говорила Вера.

– Я не обожгусь, я бо сой!..

Смеялись, конечно.

За чаем, на правах старшего, Валентин поинтересовался как бы между прочим:

– Тетя Вера, а папа где?

– Да нету папы, – ответила она легко, будто ничего не случилось.

– А скоро будет?

– Даже не знаю... Он вроде в командировку уехал. Пожалуй, даже надолго.

– Надолго? – удивился Валентин.

– Вроде так.

Валентин с Ванюшкой многозначительно переглянулись.

– Тетя Вера, можно вас на минутку? – почему-то тихо проговорил Валентин и показал на дверь головой: мол, надо выйти.

– Ванюшка, присмотри за Баженом. А ты не балуйся! – строго приказала Вера малышу.

– А я балуюсь. Мама, я балуюсь, я расту!

В коридорчике, куда они вышли, Валентин прошептал Вере на ухо:

– Тетя Вера, мама просила денег... Она сказала: пусть папа даст пораньше в этот раз, а то у нас закончились. Мы телевизор купили. Правда, правда...

Вера неожиданно покраснела. Деньгами обычно занимался Гурий, а как теперь быть? Да и денег всего у нее было двести с небольшим рублей: все, что Гурий оставил. Скоро, правда, ей выходить на работу. Важен в ясли пойдет, полегче, конечно, будет, но пока...

– Хорошо, хорошо, я сейчас приготовлю, – пробормотала Вера. – Подожди меня на кухне.

Вера отправилась в комнату, достала деньги. Обычно Гурий давал сто двадцать рублей и, хотя он давно задыхался от этой суммы, платил все-таки исправно. Причем не по исполнительному листу – просто по договоренности. И вот: «Не могу больше так жить!» – хлопнул дверью и исчез. Вера не скандалила, не останавливала, не шумела. Только слушала его и смотрела. От детей сбежать хочешь? Беги! От жен? Беги! Из Москвы? Беги. От себя все равно никуда не убежишь...

Вот что она знала хорошо: от себя не убежишь, поэтому молчала. Верила ли, что он всерьез? Верила. Знала. Видела. Но что она могла поделать? Он сам выбрал такую жизнь – никто его не принуждал. Сам. И виноватых вокруг нет. Можно было и не хлопать дверью. Но он хлопнул...

Вера взяла конверт, вложила в него сто двадцать рублей.

И тут задумалась...

Писать или не писать записку Ульяне?

И решила: писать. Все равно без объяснений не обойтись. Раньше или позже, но не обойтись.

«Ульяна, – написала она, – деньги посылаю последний раз. Хочешь – верь, хочешь – нет, но Гурий ушел от нас. Уехал. А куда – я не знаю. Может, сам будет вам присылать, – тоже не знаю. Он ничего не сказал. Сказал только: «Не могу больше так жить!» – и исчез. Не заставляй ребят просить у меня деньги. Большие мне давать нечего. Вера».

Она запечатала конверт, передала его на кухне Валентину:

– Вот, отдашь маме.

Теперь в свою очередь покраснел Валентин (все эти денежные операции его всегда смущали; хорошо Ванюшке: ему, как меньшему брату, никогда не поручали важных дел). Сложив конверт вдвое, Валентин сунул его в карман.

– Давай я заколю карман булавкой. Чтоб надежней, – предложила Вера.

– Ничего, тетя Вера, не беспокойтесь, все будет, как в лучших домах Лондона, – Валентин перестал смущаться.

– Ох, ох, английский лорд! – усмехнулся над ним Ванюшка. – Лондона!

– Английский лорд, английский лорд! – подхватил Важен, а получилось: «Лийский лолт, лийский лолт!»

И все дружно рассмеялись над его произношением. Вскоре Валентин сказал:

– Теть Вера, ну, мы поедem? Нам ведь еще в школу, во вторую смену. Пока доберemся...

– Как хоть учитеcь-то? – поинтересовалась Вера.

– А, – скривился Ванюшка.

– Плохо? – огорчилась Вера, покачав головой.

– Валька так себе, а я...

– А ты у нас отличник! – поддел Ванюшку старший брат.

– Но уж в слове «корова» два раза не акаю, как некоторые... – взвинтился Ванюшка. За что тут же получил подзатыльник от Валентина. Но и Валентин сразу получил сдачу. Глядя на них, и Важен ударил сначала одного, потом другого.

– Эй, петухи, прекратите! Прекратите сейчас же! – строго прикрикнула Вера. Ребята покраснелись, косились недовольно друг на друга, но битву не возобновляли. А Важен хитровато поглядывал на них, будто только и ждал, когда братья начнут снова воевать.

– Давай-ка я все же застегну карман, – решила Вера и, не обращая внимания на возражения Валентина, отстегнула булавку от своего халата и накрепко прихватила Валентину карман. – Теперь можете ехать.

В дверях ребята расцеловали Бажена, он цеплялся за их шеи, не отпускал, хныкал, просил взять с собой. Вера сказала:

– Исчезайте мигom, а то расплатется всерьез!

Они с сожалением оторвались от Бажена, Вера подхватила его на руки, ребята нырнули за дверь, послав братцу воздушный поцелуй, и, как только дверь захлопнулась, Важен громко, от души расплакался. Еле-еле успокоила его Вера.

Часа через два, как раз когда Важен спал, позвонила Ульяна. Разговаривать спокойно она разучилась – сорвалась в крик:

– Ты что, считаешь, я учу ребят просить у вас деньги?! Плевать мне на ваши деньги! Это не мне деньги! Это Гурька сыновьям платит, чтоб не ходили драные да рваные. Сами ведь подлизываетесь к ним, сюсюкаете, а по мне – лучше б они вообще к вам не ездили, нечего делать! Больно нужно кланчить у вас деньги!

– Тихо, тихо, у меня малыш спит, – успокаивала ее Вера, будто Важен и в самом деле мог слышать, как кричала в телефонную трубку Ульяна.

– А что Гурька смылся – ты мне эти сказки не рассказывай! От алиментов хотите избавиться? Не выйдет! Я его судом где хочешь найду, из-под земли достану... Что там у вас – меня не касается: хоть глотку перегрызите друг другу, а мне чтоб каждый месяц сто двадцать рублей на стол – и баста! Поняла?!

– Ну что ж, инти его. Найдешь – твой будет.

– А ты будто не знаешь, куда он смылся?!

– Не знаю.

– Что ж так? То миловались-любовались, Ульяне в душу плюнули, Ульяна – старуха, Ульяна – дура, а теперь сами разбежались? Вот так, милая! Хлебнешь теперь, узнаешь, почем фунт лиха! Аукнулись кошке мышкены слезки?

– Да уж на мышку ты не похожа, не наговаривай на себя.

– Поговори, поговори у меня... Узнаешь теперь, как одной-то воспитывать ребенка. А то ворковали... ах, голуби сизые! Доворковались. Но учти, если Ульяну дурой оставить хотите, не выйдет. Обоих в тюрьму засажу, так и знай!

– Ты думай, что говоришь...

– Я-то думаю! А вот что ты думала, когда замуж за этого придурка выходила?

– А ты?

– Я! Я выходила – у него детей не было. А ты на него позарилась, когда у него два довеска были. Разница большая!

– Вот и думала, что все хорошо будет, – твердо сказала Вера. – Вперед загадывать – лучше сразу в гроб ложиться: все равно умирать.

– Во, она еще зубоскалит, – истерично расхохоталась Ульяна. – Философствовать научилась у своего Рубенса! Ты бы лучше не словеса Гурькины слушала, а дурь из его головы выбивала. Больше бы толку было.

– Ты выбивала – много выбила?

– Из него выбьешь, как же! – и будто споткнулась Ульяна, спросила тише, серьезней: – Неужто вправду сбежал, а, Вера?

– Видать, сбежал. «Не могу, – говорит, – больше так жить!» – и ушел. С одним портфелем в руках.

– Может, одумается?

– Может, и одумается, – вздохнула Вера. Она и сама пока не верила до конца, что Гурий ушел навсегда.

– Поругались, что ли? – совсем по-бабьи, жалостливо поинтересовалась Ульяна.

– Да нет, вроде не ругались. – ответила Вера.

– А чего тогда ушел?

– Кто его знает... Целый год сам не свой был. И летом тоже, когда в Северном жили, места себе не находил. Сама знаешь: на него накатит – тут берегись.

– Да знаю... А если вправду сбежал – как жить-то будем, а, Вера?

– Проживем.

– Проживе-ем... Тебе хорошо. У тебя один на руках. А мне каково? С двумя? Да еще с такими? Ведь на них огнем все горит. Никаких денег не напасешься. На двух работах кручусь... Времени свободного нет, чтоб хоть приглядеть за ними, в учебе помочь. Вот вырастут остолопами да хулиганами – будет Гурьке расплата.

– А ты за деньгами не гонись, всех не заработаешь. Лучше за ребятами присмотри, больше толку будет.

– Ты меня еще учить будешь! – вновь перешла на крик Ульяна. – Вот когда доведешь своего до возраста моих, тогда посмотрим. А то советчица нашлась: у самой от горшка два вершка, а туда же – учит.

– Ну, накричалась? Все сказала? – спокойно спросила Вера.

- Учти, Верка, если надуть меня задумали, аукнется вам, ой, аукнется!..
- Больно надо надувать. Сами обмануты.
- Ну то-то. А вообще не знаю, девка, не знаю, как мы с тобой будем... Тебе когда на работу-то? Скоро ведь?
- Недели через две. Год в послеродовом была, полгода – за свой счет.
- Малого куда денешь?
- Куда все. В ясли. Считай, уже устроила.
- Устроила! Устроить – легче легкого, а как болеть начнет? Будет тебе работа...
- Как-нибудь.
- Ладно, поживем – увидим. Может, наш охламон еще одумается, вернется?
- Может быть.
- Ты вот что, Вер, ты на меня за крик не обижайся. Не заставляю я ребят просить деньги... Гурька сам давал, приучил. Они вроде как семейное задание выполняют. Поняла?
- Чего тут не понять.
- Во-от. Ну а если что – звони. Помогу, чем могу. Да и вообще... вдвоем-то оно легче, сама знаешь.
- Ну да, вроде так.
- А Гурий... ох, не верю, чтоб совсем смотался. Кишка у него тонка!
- Посмотрим. Но денег за него платить у меня нету.
- Ладно, считай, поговорили. Пока!
- До свиданья, Ульяна.

Глава II

Окончив институт, Гурий Божидаров, как мало кто из иногородних, уже имел в Москве комнату. Сделал он это так: еще учась на первом курсе, устроился дворником в домоуправление Министерства черной металлургии; и не как студент устроился, а по настоящей трудовой книжке, которая «завелась» у него сразу после окончания школы: какое-то время – два летних месяца – Гурий работал в районной газете ретушером. Поступив в институт, Гурий не стал сдавать книжку в отдел кадров, а приберег ее для устройства на работу дворником. Так через пять лет он стал на законном основании владельцем девятиметровой комнаты в коммунальной квартире, причем в паспорте у него красовался подлинный штамп постоянной московской прописки.

Чтобы произошло это, много совпадений и стечений обстоятельств должно было случиться, но фортуна улыбнулась Гурию, будто действительно счастливому и удачливому человеку, и Гурий Божидаров в возрасте двадцати двух лет стал «коренным» москвичом.

С дипломом учителя рисования Гурий мог устроиться в любую московскую школу, однако теперь, имея постоянную прописку, он не спешил. Другая звезда манила его – не учительствовать, а творить. То есть рисовать, писать самому.

Все лето после окончания педагогического института Гурий провел на Урале, в родном поселке Северный. На улице Миклухо-Маклая жила его престарелая мать Ольга Петровна Божидарова, бывшая учительница географии, а ныне пенсионер, простой человек. Никаких «художников» в семье Божидаровых, по крайней мере по материнской линии, никогда не водилось, Гурий, как оказалось, был первым в этом ряду.

Каждое утро, захватив блокнот и карандаш (реже – кисточки и гуашь), Гурий уходил в лес и даже не столько в лес, сколько лесом, извилистыми тропами, поднимался на Мал аховую гору, туда именно, где в небо возносился Высокий Столб – прихотливо-узорная деревянная пожарная каланча, с верхней площадки которой открывались широкие и спокойные дали уральских дивных просторов. Всякий раз, когда Гурий забирался по шаткой лестнице на ветхую площадку Высокого Столба, дух его замирал в сладостном и восторженном преклонении перед странной, волнующей, даже страшной в чем-то красотой, которая открывалась жаждущим глазам. Он не понимал, не мог выразить понимания в словах, но чувствовал, будто сама истина жизни, ее суть и смысл раскинулись по далям и весям бескрайних просторов. Хотелось не только созерцать, но запечатлеть эту красоту, вот только как это сделать? Какими линиями, красками и оттенками передать, чтобы тот, кто смотрел на рисунок, почувствовал бы то же волнение, ту же благодать и возвышенность ощущения жизни? Гурий устраивался на верхней площадке, подолгу рисовал, набрасывал то один, то другой пейзажный кусок на бумагу, движения его были резки, смелы, и казалось, не сам он водил рукой, а неизвестная тайная сила вела его за собой, направляя все движения. Однако тайная сила была, поклонение и преклонение ощущались, а линии, силуэт, рисунок, то есть сама тайна, не давались легко и просто, свободно и широко, как это ощущалось в груди, в сердце, в самом легком дыхании, которое кружило голову. Еще тогда, в те дни, в те годы испытал Гурий безмерную пропасть между чувственным, видимым миром – и свершённым, запечатленным художественным движением души. Пропать не уменьшалась от того, что ты чересчур сильно чувствовал и чересчур жарко хотел изобразить: сила чувств и мера дара не существовали как нечто равнозначное. Наоборот, они воспринимались как нечто мучительно-разное, противоположное.

И что такое художник? Тот, кто преодолевает это мучение? Или тот, кто не знает его вовсе? Кто парит в своем художестве, как птица над просторами?.. Или кто мучается, как легендарный Сизиф?..

Больше всего и чаще всего Гурий хотел изобразить именно такую картину: парящего над дальней деревушкой – над Красной Горкой – ширококрылого и широкогрудого коршуна. Ему хотелось воссоздать окружающий пейзаж – деревушку, синий сосновый лес, зеленую речку Чусовую, извилистую дорогу на Северный – как бы с высоты птичьего полета, с той точки, в которой широко и вольно кружил и кружил коршун; хотелось передать единство этих двух безмерно разных миров – мира птицы и мира людей, – так передать, чтобы единение ощущалось именно в природе, через природу. Природа как бы объяла эту картину в единую купель, и ничто – ни настороженно-хищный полет птицы, ни напряженность будничных забот жителей Красной Горки, – ничто не в силах разять эту природой защищаемую высшую идиллию: даже враждующее, противоборствующее – всё было единым, слитным в природе.

Впрочем, не давалась эта мысль Гурию; не мог он ухватить ее, выразить до конца в словах, а в чувствах иной раз все мешалось, переходило в сумбур, в хаос, и он бросал в ожесточении карандаш или рвал наброски пейзажа. Не получалось, не срасталось ощущаемое и изображаемое, видимое и нарисованное.

Эта пропасть искусства и жизни открылась ему впервые именно в то лето; до этого, как ему казалось, он осваивал основы техники, ибо главное, считал он, – это талант изображать, копировать действительность.

Какой же ты художник, думалось ему, если не можешь копировать жизнь один к одному?

Ан нет, не в этом тайна живописи.

Копировать-то можно, но художественность тут как раз и ускользает. Она прячется за семью холмами, слегка проглядывает из-за облаков или вдруг птицей улетает за тридевять земель... И никак не поспеваешь за ней душой: ты тянешься за тайной лишь рукой, карандашом, гуашью, а душа почему-то бескрыла, и вялы ее паруса, и не дует в них попутный ветер истины!

Измучился он в то лето донельзя; настроенный на высокую волну, подхваченный честолюбивым жжением души – взрастить или пробудить в себе художника, Гурий с удивлением обнаружил: не только окрыленность, но даже и простое «копирование» жизни не даются ему легко и свободно, а постоянно ускользают, опустошая сердце, разрушая помыслы.

Однажды, как раз когда он находился в таком состоянии, повстречалась ему в лесу, на пологом спуске Малаховой горы, на девственной земляничной поляне, семья Варнаковых – мать с отцом и их дочка. Они были соседи, Варнаковы и Божидаровы, однако жили не на одной, а на параллельных улицах; зато огороды их как раз соприкасались друг с другом. И сарай, и дровяник, и конюшня, и сеновал стояли у них под одной крышей, только разделены были глухой перегородкой – точно по линии соприкосновения огородов. Так что соседи были близкие, как говорится, ближе не бывает. Жили, правда, обособленно друг от друга, но так жили все в Северном. Сосед соседом, а своя жизнь забирает настолько, что некогда по сторонам глазеть да оглядываться.

Варнаковы, отец с матерью, сидели на траве вокруг трапезы, разложенной на чистом цветастом платке: тут яйца, огурцы, помидоры, лук, хлеб, молоко. Дочь их устроилась на припёночке, задумчиво глядя меж деревьев: там, будто через решето, просеивались звонкие до стекленности лучи восходящего солнца. Словно веер божеский ниспадал на землю...

Гурий не обрадовался встрече – не хотелось ему ни с кем разговаривать, душа, угнетенная, ныла и саднила, а вот соседи искренне заулыбались ему. Вышли они сегодня по землянику, всей семьей почти ведро набрали, вот немного осталось до верхнего венчика. (Земляника крупная, сочная, сладкая.) Да тут как раз притомились, сели отдохнуть, перекусить малость.

– Подсаживайся, – показал Варнаков-отец.

– Спасибо, дядя Емельян, – отказался Гурий. – Не хочется.

– Что ж ты за мужик такой, есть ему не хочется?! – всплеснула руками мать. – Ну-ка, садись, садись... – Когда он сел, захлопотала вокруг него, подкладывая то крупный краснobo-кий помидор, то свежую краюху хлеба, то кружку вспененного парного молока.

– Спасибо, тетя Наталья.

– Ешь, ешь, спасибо потом скажешь.

Гурий уныло ел, подавленный грустными размышлениями. Отец и мать Варнаковы недоуменно переглядывались: чего это с ним? И мать не нашла ничего лучшего, как упрекнуть дочь:

– А ты чего сидишь куксишься? Песню б, что ли, завела...

Дочь ничего не ответила, только покосилась недовольным глазом; и вдруг прыснула: Гурий неожиданно напомнил ей гиппопотама, которого она видела в зоопарке: у того были такие же грустные-грустные, будто бессмысленные, глаза и такая же тяжелая челюсть, как глыба.

– Во, прорвало ее! – удивился отец. – То сидит – слова из нее не вытащишь, а то веселится невесть с чего.

– Гурька на гиппопотама похож! – объяснила дочь простодушно и в открытую громко рассмеялась.

– Чего-о?.. – протянул отец. – Ты хоть думай головой-то, прежде чем ляпать!

– Ой, Ульянка, ой, девка! – запричитала мать. – Смотри у меня!

Матери с отцом, что и говорить, было неудобно перед Гурием: они знали, он в этом году институт окончил, учителем стал, а эта их балаболка – тьфу! – мелет чего попало.

Гурий тоже удивленно взглянул на Ульяну.

– Чего смотришь?! Думаешь, не похож? Похож! Гип-по-по-там! – веселей прежнего говорила Ульяна и продолжала смеяться.

И тут вдруг, вот в этом лице Ульяны, в ее брызжущих весельем глазах, в ее полных ярких губах, в чуть откинутой назад голове, в ее по-лебединому изогнутой шее, в длинной-длинной косе с вплетенным в нее жарким красным бантом, тут вдруг померещилось Гурию, привиделось что-то особенно завораживающее, таинственно-мудрое и одновременно мудро-открытое... что-то такое, что...

Гурий привстал, медленно подошел к Ульяне (все смотрели на него с изумлением), осторожно, двумя пальцами, прикоснулся к девичьему подбородку, чуть приподнял его и отвел слегка в сторону:

– Вот так... Так... – И медленно, пятась, отошел на свое место, присел на колени, пристально вглядываясь в Ульяну и иногда томно щурясь, будто от жаркого солнца.

Лицо у Ульяны неестественно вытянулось, улыбка исчезла.

– Ну, смейся! – приказал Гурий.

Ульяна покорно рассмеялась, но вышло не так свободно и весело, как прежде.

– Не так! Как раньше! – продолжал командовать Гурий.

Ульяна только таращила глаза.

– Ну, говори: Гурий – гиппопотам! Гип-по-по-там! – приказывал Гурий.

И тут, вздохнув, она сказала: «Гип-по-по-там!» – а сказав, рассмеялась так же громко и заразительно, как совсем недавно.

– Так, так, – забормотал Гурий, достал блокнот, быстро раскрыл его и начал стремительно, частыми штрихами набрасывать контуры смеющегося лица Ульяны.

Варнаковы-старшие замерли, как громом пораженные: прямо на их глазах в блокноте как бы само собою, по мановению волшебной палочки, стало возникать искрящееся весельем, запрокинутое, прекрасное своей молодостью и здоровьем лицо их дочери (беспутной дочери, с которой уж сколько они намучились!), с характером ее взбалмошным, грубым и неуправляемым.

И вот – такая красавица буквально на глазах расцвела на бумаге!

Сколько минут писал ее Гурий?

Минут пять, не больше, но пять этих минут во всем дальнейшем будущем этих людей, возможно, станут высшими и счастливыми мгновениями прожитой жизни.

Закончив портрет, чувствуя в душе невероятный подъем, Гурий великодушным, свободным жестом вырвал страницу из блокнота и, подойдя к Ульяне, протянул ей:

– Это тебе. На память.

И, не ожидая ни слов благодарности, ни слов удивления, а тем более слов отказа, Гурий легко повернулся и пошел... Но нет, не туда пошел, куда направлялся прежде, то есть под гору, домой, а снова наверх, на Малаховую гору, на заветную площадку Высокого Столба – снова и снова писать дали и просторы уральских пространств, а самое главное – того коршуна, кружащего над Красной Горкой... Будто что-то соединилось сейчас в Гурии в понимании сути происходящего: тот коршун и эта девушка, Ульяна, почему-то были одно целое, неделимое, вот только бы ухватить это не только мыслью, но чувством, движением руки, прозрением...

С того дня, странное дело, Ульяна часто думала об этом случае, о соседе, о Гурии и не могла не смотреть с удивлением на собственный портрет, который повесила над кроватью: это была она, конечно, да, но в то же время – совсем другая девушка, как бы выше, сложнее и загадочней настоящей Ульяны; и оторваться от нее не могла Ульяна, но и согласиться, что она – такая, тоже не могла... Какая-то тайна тут была, недосказанность, недовыясненность, и эта тайна мучила Ульяну.

Ведь они – странно и смешно вспомнить! – когда-то учились с Гурием в одном классе, вместе выпустились из одной школы-десятилетки, но если и обращала Ульяна когда-нибудь внимание на Гурия, то только тогда, когда с жалостью, перемешанной с брезгливостью, отмечала его маленький рост, толстую шею и странно-выпуклый, тяжелый подбородок. Кого-то он все время напоминал Ульяне, какое-то животное, но она никак не могла уяснить, какое именно, и от этого нередко злилась. Мальчишки часто били Гурия, он не плакал, не сопротивлялся, он только подолгу смотрел на своих обидчиков большими глубокими глазами, в которых будто ничего не выражалось, а стояла только безмерная, внемеловеческая тоска... Его часто били и за это – за то, что *так* смотрел. Страшно было, неудобно, не по себе, когда он смотрел на своих обидчиков большими круглыми глазами, и молчал, и ничего не говорил, и только иногда губы его кривились в усмешке, верней, усмешки как таковой не было, просто губы кривились – и все.

Станный был парень, не похожий ни на кого, и его искренне не любили...

Пять лет после школы Ульяна провела как в чад. Сразу после выпускных экзаменов пробовала поступать в Уральский политехнический институт – куда там, нахватала одних «троек», так и плюнула в досаде и больше об институте не вспоминала, не мечтала. Пошла работать на трубный завод оператором, работа ловкая, веселая, только знай нажимай на кнопки и тумблеры, когда идет погрузка или отгрузка труб; после смены Ульяна не чувствовала никакой усталости (молода была, полна сил), так что растрачивала себя на танцы, веселье, вечеринки, свидания, поцелуи... К двадцати двум годам знала все, частенько и дома не ночевала, отец Емельян Варнаков, когда это случилось в первый раз, выпорол ее вожжами, она покорно снесла побои, только позже твердо сказала отцу: «Тронешь еще раз – вот тут и повешусь! – и пока-зала на крюк в сарае. – И записку напишу: отец довел, так что отвечать по закону будешь...» Емельян только хмыкнул, но с тех пор больше пальцем не тронул дочь – девка дурная, взбалмошная, в самом деле может руки на себя наложить... Но, что битая, что не битая, Ульяна продолжала жить по-своему, а когда рано начинаешь жить по собственному хотению-разумению, рано и тоска в сердце закрадывается. Живешь как Бог на душу положит, а все пустеет и пустеет сердце, ноет душа, и только новым весельем, еще более бесшабашным или бесстыдным, бывает, и выбьешь эту тоску, а только выбил – назавтра она еще больше, безотрадней и горячеей.

Странная жизнь.

Скольким парням кружила голову Ульяна, сколько парней и ей головушку дурили, за одного, казалось, за Степку Перемышлева, она готова была хоть в огонь, хоть в воду, а обернулось, как провела с ним несколько ночей, что она для него «очередная дура», как сам Степан признался, легко улыбаясь ей в глаза. Всем им, хоть тому, хоть этому, одно нужно было... да и отчего им другого хотеть, если она сама не против?

Вот и выпестовался у нее характер: веселая, заводная, взбалмошная, а то вдруг в хандру впадает, голову туго-туго платком перетянет, чтоб не разрывало ее от боли-тоски, и валяется дня по три-четыре на диване, отвернувшись к стене, видеть никого не хочет.

И тут на тебе – встретился в лесу Гурий, в пять минут выписал ее такой красавицей, что она сама себя не узнавала, будто разглядел в ней то, что скрыто от чужих глаз, да и от своих собственных, за семью замками. А может, Гурий просто придумал ее? Наделил чем-то таким, чего в действительности в ней не было? Поманил странным видением, словно тайну открыл, а потом глядь – рассыплется все в прах, как много раз прежде случалось, когда она тянулась к кому-нибудь душой и сердцем?..

Но не думать о Гурии она уже не могла; он, казалось, забыл о ней, часто уходил в лес, на Малаховую гору, а Ульяна, выследив его, иногда кралась за ним следом. Ну, как кралась? Просто шла за ним, не окликая, не задерживая, будто так брела, своей дорогой, но дорога эта след в след совпадала с дорогой Гурия.

Он, конечно, замечал Ульяну, но ничего не говорил, как бы не придавая никакого значения, что она идет за ним следом. Но сердце его билось сильнее, тревожнее...

Приходили на Малаховую гору, на Высокий Столб, Гурий забирался на верхнюю площадку, рисовал изо дня в день неистовой, злей, самоотверженной, а Ульяна устраивалась внизу: то просто сидела, напевала какую-нибудь грустную песню, то ни с того ни с сего смеялась, кричала наверх: «Эй, художник, возьми меня к себе!», то тихо, трепетно собирала в округе цветы, ромашки и васильки, сплетала из них золотисто-голубой венок и царственно надевала его на голову, крича: «Эй, художник, смотри!»

Гурий был неспокоен душой, художество не давалось ему, он не мог понять, что нужно Ульяне от него, да она и сама не знала, зачем преследовала его, просто тянуло к нему, как раньше тянуло к другим, только в Гурии чудилась какая-то загадка, схожая с непонятной хрупкостью, слабостью, тонкостью, в то время как в других она прежде всего ощущала силу, удаль, озорство, азарт жизни. Но там – опустошало впоследствии, а здесь... Что здесь? Она не знала пока.

Ему хотелось прогнать ее: она мешала ему, не давала сосредоточиться, услышать в себе слияние с тишиной и безбрежностью открывающихся пространств, но и прогнать ее он не мог, не решался.

Однажды он спустился по шаткой лестнице вниз, думая, что ее нет, давно ушла (однако, как ни странно, с досадой чувствуя, что ему начинает не хватать Ульяны), а она вдруг вышла из избушки рядом, из заброшенной избушки лесника, в золотисто-голубом венке из ромашек и васильков, улыбнулась ему:

– Хочешь есть, Гурий? Я приготовила. Там, в избушке, – показала она рукой.

– Не хочу, – сказал он, и голос его прозвучал резко, грубо.

– Ты что, боишься меня? – спросила она.

Он не ответил. Верней, ответил, но не сразу. Он посмотрел на нее внимательным, строгим, едва ли не суровым взглядом и заметил, что глаза ее, прежде черные, вороного крыла, высветлели, будто покрылись пеплом.

– Нет, не боюсь, – наконец ответил он.

Она медленно пошла ему навстречу. Она смотрела Гурию в глаза, и ему показалось, что она – не просто Ульяна, а что-то другое, колдовское, неумолимое, вечное.

– Я нравлюсь тебе? – улыбнулась она.

И он, сам того не ожидая, сказал вдруг:

– Я люблю тебя.

Она покачала головой:

– Любишь меня? Ой ли? Разве ты знаешь, что такое любовь?

– Не подходи, – сказал он.

– А говоришь – любишь меня, – усмехнулась она. – Ты не сумасшедший, Гурий?

– Нет, не сумасшедший. Я хочу стать художником. Все очень просто.

– Тын так художник.

– Нет, я пока не художник. Я никто. Но я не хочу так жить. Не могу жить, чтобы быть никем.

– А как же другие, Гурий? – Она продолжала идти к нему, не послушавшись его слов: «Не подходи», приблизилась совсем вплотную, переспросила: – Как же другие, Гурий? Я, например?

– Женщины – совсем другое, – прошептал он. Он не в силах был отвести от нее взгляда.

– Поцелуй меня! – приказала она и что-то тихо-тихо стала бормотать про себя, будто молилась шепотом. Он видел ее слабо шевелящиеся губы, видел широко открытые пепельные глаза, полные огня и страсти, видел томную ложбинку меж ее грудей в разрезе легкого летнего платья и не посмел послушаться ее, протянул к ней руки. А она протянула к нему свои, обвила его шею и закрыла глаза нежно-золотистыми, как персики, веками. И веки ее дрожали, он еще видел это...

А над дивными уральскими просторами кружил и кружил коршун.

Осенью Гурий с Ульяной уехали в Москву.

Весной следующего года, двадцать девятого мая, Ульяна родила первого мальчика – Валентина. А через год, тринадцатого сентября, второго – Ванюшку.

Жили они в комнате в девять метров. Конечно, два малыша в девятиметровке – хорошего мало, но как-то все обходилось впрямь по пословице: «В тесноте, да не в обиде».

Поначалу Гурий устроился в школу № 150 Фрунзенского района – преподавать рисование, но потом бросил учительство: Ульяна одна не справлялась с малышами. Пошел снова в дворники, в прежнее домоуправление, и теперь только ранние часы отдавал работе, а остальное время занимался, как и Ульяна, воспитанием сыновей.

Росли они болезненными, особенно мучили их уши, хронический отит: чуть простуда – глядь, опять осложнение. Однажды трое суток подряд из всех четырех ушей тек гной – ничего не могли сделать врачи. Пришлось вызывать платного – старую матерую профессоршу Ревекку Соломоновну. Та только и спасла ребят (а ведь могли оглохнуть): такое лекарство прописала, что после первых же двух уколов гной перестал сочиться, а через пять-шесть уколов отит отступил совсем. Вот только денег пришлось платить много: за разовый вызов профессорши к одному ребенку – пятнадцать рублей плюс оплата такси; один приезд Ревекки Соломоновны обходился им в сорок рублей.

Где такие деньги брать? Трудно приходилось, надо было изворачиваться.

От той поры осталась на память фотография – может, лучшая детская фотография ребят: сидят два малыша рядышком, глаза – грустные-грустные, а головы обмотаны бинтами, будто круглые белые скафандры надеты. Спиртовые компрессы делали на уши, накладывали на них непромокаемую кальку, на нее – толстые ватные прокладки, затем в несколько слоев шерстяные тряпицы, и все это густо-туго обматывали бинтами, чтоб компрессы служили подольше, понадежней. На фотографии этой Валентину – 2 года 3 месяца, Ванюшке – год.

А когда Валентину исполнилось три года, произошло грандиозное событие: райисполком выделил им двухкомнатную квартиру, причем с изолированными комнатами. Да и то сказать: даже по суровым московским меркам семья «уральских варягов» Божидаровых выделялась

среди очередников: на одного человека приходилось у них по 2 квадратных метра с хвостиком. Как ни прижимист любой райисполком, а тут пришлось раскошелиться, выделить отдельную квартиру.

И вот с того времени, быть может, и потекла в их семье жизнь не совсем та, о какой мечталось всем прежде. Гурий вновь потянулся к карандашу, к которому всерьез, пожалуй, не притрагивался более трех лет. Отдельная ли квартира послужила толчком, или вновь преподавательская работа, которую в очередной раз Гурий предпочел «дворничеству», или оттого, что подросли ребята и с ними стало легче управляться, – как бы там ни было, но Гурий с прежней, а то и с еще большей силой потянулся к художеству. Теперь в его распоряжении находилась отдельная комната (не кабинет, конечно – в этой же комнате они и спали с Ульяной, – но все-таки...) – и он мог все свободное время рисовать карандашом или писать гуашью, отгородившись от семьи дверью. Пока еще Ульяна не работала – дело было терпимым, а когда Ванюшке исполнилось полтора года, пришлось Ульяне, чтобы не потерять стаж, устраиваться на работу. Из-за детей она пошла сначала няней в ясли, потом – завхозом в детский сад.

И что же?

Гурий как бы выпал из семейной жизни.

Ходил ли он на работу, был ли дома, отправлялся ли в магазин, отводил ли ребят в детский сад, он словно не замечал ничего вокруг, глаза его туманно и отстраненно блуждали по сторонам или, наоборот, как бы фокусировались на чем-то таком, что виделось ему одному, более никому. Ну ладно, если бы это касалось только его собственной жизни, но ведь он жил не один, в семье, а семейные проблемы он совершенно перестал брать в расчет.

И Ульяна потихоньку стала роптать. И не оттого, что делать ей нечего, не от характера своего, который, конечно, сладким не был, просто не успевала везде и всюду одна, задыхалась.

Но чем более она роптала, тем более замыкался в себе Гурий; чем более она ругалась, тем глупей и странней блуждала на его губах улыбка. Он мог, например, когда она исходила криком, вдруг как бы узреть в ней что-то необыкновенное, мчался за бумагой и карандашом, садился напротив и начинал набрасывать ее сверкающие гневом глаза, перекошенные злостью и раздражением губы, вздувшиеся на шее вены.

– Еще... еще немного, – умолял Гурий. Это все так выводило из себя, что она не только кричать или ругаться, но и просто слова сказать больше не могла – гнев и обида переполняли ее. А он продолжал: – Ну, Уля, еще... еще покричи... еще немного... прошу тебя!

Именно в один из таких моментов, не помня себя, Ульяна размахнулась и отвесила Гурию такую пощечину, что он не удержался на стуле и свалился на пол. Но и упав, обхватив от изумления и боли горящую щеку левой рукой, он продолжал (на четвереньках) пристально вглядываться в лицо Ульяны, словно стараясь постичь ее суть до конца, до доньшка. А у нее... губы у нее задрожали, глаза безумно расширились... Ладонями Ульяна обхватила себя за лицо и, раскачиваясь, запричитала, как над покойником (непонятно только – над собой или над мужем):

– Господи, да за что нам жизнь такая?! Ты посмотри, посмотри на него, Господи...он безумец, безумец, Господи!

А Гурий как ни в чем не бывало поднялся на ноги, пристроился на стул и, продолжая пристально вглядываться в Ульяну, теперь набрасывал ее на бумагу уже вот такую – причитающую, без слез плачущую и молящую Бога кто его знает о чем...

Да и занятия в школе пошли вскоре у преподавателя Гурия Божидарова не тем привычным чередом, как это принято по любой министерской программе, а без всякой системы и последовательности, по наитию или совсем по зигзагам причуд.

Например, Гурий Петрович мог дать своим ученикам такое задание: нарисуйте меня, каким вы меня представляете, скажем, усопшим – в обыкновенном тесовом гробу, без цветов, но с разного рода венками и подношениями.

Особенно возмущалось школьное начальство вот этим словом: «подношениями»... Что имел в виду Гурий Петрович? – добивалось начальство. И тот ответ, который преподнес учитель рисования: что, мол, интересно взглянуть, какую именно дорогую для себя вещь они решатся подарить мне на прощание, – этот ответ принять вразумительным никак нельзя было, хотя Гурий Петрович и упирал на нравственный аспект поставленной перед учениками задачи.

Или он мог дать другое задание: нарисуйте то, что делается в вашем сердце, когда вы смотрите, к примеру, на нравящегося вам мальчика или девочку.

Но как можно нарисовать то, что делается в сердце?!

Вот что интересовало директора школы, но на это Гурий Петрович только пожимал плечами. Вскоре, впрочем, ему надоела и школа...

Глава III

- Это квартира Божидаровых?
- Да, да...
- Ульяна, здравствуй! Это Вера звонит, соседка.
- Какая Вера? Какая еще соседка? – раздраженно проговорила Ульяна: Ванюшка с головы до ног облился водой, а тут некстати этот непонятный звонок.
- В трубке раздался веселый жизнерадостный смех:
- Да Вера, Верунька Салтыкова. Из Северного. Ты что, забыла меня?!
- Фу-ты, – радостно-облегченно вздохнула Ульяна. – А я-то думаю: какая соседка? Ты откуда звонишь, Верунька? Из Москвы, что ли?
- Ну да, конечно. Я ведь теперь тоже москвичка!
- Как москвичка?! – не поняла Ульяна. – В институт, что ли, поступила?
- Нет, не в институт. На работу устроилась. По лимиту на стройку.
- С ума, что ли, сошла? Зачем тебе это?
- Как зачем? – продолжала говорить Верунька без всякой обиды, все тем же веселым жизнерадостным тоном. – В Москве хочу пожить, на людей посмотреть, себя показать. Что мы, хуже столичных, что ли?
- Ну, дуреха... – не обидно, а скорее жалостливо проговорила Ульяна. – Помыкаешься теперь.
- Почему это? Ты же не мыкаешься?
- Ну, о нас чего говорить. О нас – статья особая, – и тут же, оборвав себя, поинтересовалась: – Ты где живешь-то? Далеко от нас?
- У метро «Октябрьское поле». В общежитии.
- Смотри-ка, совсем близко, надо же...
- Я чего и звоню-то, Ульяна. На ноябрьские домой летала, тетя Наталья и попросила: «Завези моим гостинцы, заодно посмотришь, как они живут». Я говорю: неудобно, а она: это мне, говорит, неудобно, что навязываю тебе, да уж уважь... Вот и звоню.
- Ульяна невольно отметила про себя по-доброму: смотри, какая дуреха, так все и выкладывает, а вслух сказала:
- Ты сейчас-то свободна, Верунька?
- Ага.
- Тогда садись на 65-й троллейбус и едь до метро «Сокол». Адрес у тебя есть? Мы тут совсем рядом с метро.
- Ага, есть адрес. Тетя Наталья написала.
- Ну и отлично. Давай, жду!
- А ты одна дома-то, Ульяна?
- Пацаны со мной. Приболели – вот и сижу с ними.
- А дядя Гурий?
- На этот вопрос Ульяна искренне рассмеялась:
- Какой он тебе «дядя Гурий»?! – «Дядя» она произнесла с нажимом, с некоторой подначкой. – Просто Гурий – и все.
- Ну, все-таки... – замялась Верунька.
- Ладно, нет его, нет. Успокойся. Ну, давай, жду!
- Через полчаса они сидели на кухне, пили чай. Гостинцы из дома были такие: жареный гусь и яблоки-антоновка. От жареного гуся Вера наотрез отказалась («Гуся сами съедите, вечером сядете за стол – и всей семьей...»), а вот на чай согласилась с удовольствием. Пока они сидели, разговаривали, ребятишки – Ваня с Валентином, – поблескивая глазенками, вытаскали

с кухни почти полную вазу яблок: сочные, ядреные, яблоки спело брызгали соком под нажимом востреных ребячьих зубов. Веру ребяташки сразу узнали (бывали в Северном, видели ее много раз), но все равно отнеслись несколько настороженно. А может, с настороженным любопытством? Потому что забегут на кухню, схватят по яблоку – и бежать, а сами зырк, зырк глазами на гостью: какая, мол, ты – добрая? злая? играть любишь? баловаться любишь? А как только Верунька протянет к ним руку по вихрастым головам потрепать, они тут же раз – и увернулись. Игривые, как котята, и хитрые, как лисята. Верунька смеялась над ними, они обиженно пыхтели и убегали в свою комнату: ну и смейся, мол, смейся, эх ты!

Но больше всего понравилась Вере их квартира! Две чистые, такие просторные, такие ухоженные комнаты. Свежие – в голубой и золотой цветочек – обои; блистающие белизной (с синеватым отливом) потолки; полированная мебель, телевизор, большой холодильник на кухне, и сама кухня – такая уютная, с теплой домашней лампой под абажуром, низко висящим над полуовальным столом. И везде, во всех комнатах, картины, репродукции, просто наброски карандашом или рисунки гуашью (это уже творения Гурия), причем Вера заметила, что чаще других на рисунках либо лицо Ульяны, либо пейзажи до боли знакомых уральских мест: то речка Чусовая, то Малаховая гора, то Высокий Столб, то коршун над широкой уральской тайгой, то крохотная река Северушка, то залитый солнцем пруд в Северном...

Будет ли и у нее, Веруньки, когда-нибудь такая квартира в Москве? Муж? Дети? Ах, не стоит и мечтать об этом раньше времени.

Они с Ульяной сидели на кухне, чаевничали, и поскольку Верунька совсем недавно вернулась с Урала, она захлеб рассказывала о поселковых новостях, а Ульяна, глядя на ее такое юное, чистое, розовощекое лицо, на пышные, легкие, будто пух, каштановые волосы, на ее источающие здоровье и беспричинную радость глаза, Ульяна завидовала ей тихой светлой завистью, даже не столько завидовала, сколько думала: вот и я, дуреха, совсем недавно была такая, чистая, глупая, веселая, счастливая, а теперь... куда все подевалось теперь? И ведь странно, что Ульяна думала так: намного ли она была старше Веры?

– Сколько тебе хоть лет? – не удержавшись, поинтересовалась-таки Ульяна у Веруньки.

– В октябре восемнадцать исполнилось. Второго числа. Вот смотри, видишь? – протянула она руку.

– Что это? – не поняла Ульяна.

– Колечко, – таинственно-тихо прошептала Верунька. – За мной один парень ухаживает, Сережа Покрышкин, это он на день рождения подарил.

Ульяна пригляделась повнимательней: ничего особенного, ни золотое, ни серебряное, обычная «неделка».

– Ты смотри, с парнем с этим поосторожней. Сколько ты в Москве?

– Два месяца. Третий пошел...

– И уже с парнем ходишь?

– А что, нельзя? Сережа очень хороший, только один раз и поцеловал меня. И то в щеку.

– Все они хорошие, – махнула рукой Ульяна. – До поры до времени.

– Как ты можешь так говорить?! – вспыхнула Верунька. – Ни разу не видела человека – и уже не веришь ему?

– А чего им верить? У них одно на уме, – продолжала свое Ульяна.

– Ну, знаешь! – возмутилась Верунька, и лицо ее покрылось пунцовыми пятнами.

– Вот что, милая, – не обращая на ее возмущение никакого внимания, твердо произнесла Ульяна: – Возьму-ка я над тобой шефство. А то мне после твой отец не простит, что я соседски не уберегла тебя.

– Что еще за шефство? Воспитывать меня будешь?!

– Да ты не злись, не злись, дурочка... Сама потом спасибо скажешь! В другой раз, как он целовать тебя начнет, ты ему скажи: поехали, мол, в гости.

– Куда это?

– А к нам. Ко мне, вот сюда. Хочу взглянуть, что он за фрукт.

– А дядя Гурий не рассердится?

– Какой он тебе «дядя»?! – во второй раз рассмеялась над ее «дядьканьем» Ульяна. – Гурий он, просто Гурий... Меня ведь ты зовешь – Ульяна?

– Ну, ты – одно, а он... он же художник.

– Да ладно, все мы одно: земляки, провинциалы.

– Но он же... как это говорится... творческий человек. И вообще, Ульяна, если честно, – перешла на шепот Верунька, – я его боюсь, твоего мужа. Они, эти художники, не от мира сего.

И еще раз от всей души рассмеялась над словами Веруньки Ульяна. Так рассмеялась, что на смех ее прибежали на кухню Ванюшка с Валентином:

– Мама, ты чего смеешься? Мы тоже хотим, ура, ура! – и в самом деле, глядя на мать, стали смеяться вместе с ней, да так звонко, таким веселым заливистым смехом, что и Верунька не выдержала, стала тоже смеяться с ними за компанию. А когда просмеялись (у Ульяны даже слезы на глазах появились), мать еще раз вручила сыновьям по яблоку: «Идите, играйте у себя!» – и выпроводила с кухни.

После этого, неожиданно посерьезнев, сказала со вздохом:

– Эх, девонька, знала бы ты, какие они, эти творческие люди... Ничего-то они не умеют, ничего-то не хотят делать... одни глупости на уме. Била бы я их как Сидоровых коз, работничков этих, будь на то моя воля.

– Да за что?! – изумилась Верунька: лицо ее и впрямь выражало полное недоумение.

– А так, для профилактики. Вер, Верунька, замуж будешь выходить, смотри в оба, чтоб мужик молоток в руках умел держать, хозяйством бы занимался, домом, детьми. А все эти художники, музыканты, писатели (уж поверь, посмотрелась я на них!) – зряшные люди, толку от них как от козла молока.

– Ну, зачем ты так, Ульяна, – укорила Верунька. – Нехорошо. У тебя же муж – художник. Отец твоих детей. Хозяин в доме. Что ты, зачем так?!

– Не хозяин он. Я в доме хозяйка. Вот так!

И с этими ее словами, будто услышав их разговор, в квартире появился Гурий, тихо открыв входную дверь собственным ключом. Ванюшка с Валентином, расслышав звяканье ключей, бросились к отцу на шею: «Папа! Папка! Папка пришел!» Он поцеловал каждого в щеку, погладил по голове, спросил:

– Ну, братцы-божидаровцы, как жизнь?

– Ура! Хорошо! В садик не ходим! Болеем! Ура!

– Ясно. Каникулы посреди рабочей недели? Ладно, бегите к себе. Мама дома?

– Дома, дома, где мне еще быть?! – Ульяна, воинственно подперев бока руками, вышла из кухни. – А вот где ты шляется три дня, если не секрет?!

– У нас что, гости? – показал Гурий на незнакомое женское пальто, висящее на вешалке.

– Да, у нас гости. Но ты все же ответь сначала на вопрос: где ты был три дня?

– Работал, – и, больше ничего не объясняя, прошел на кухню. Увидев Веру, едва приметно поклонился: – Добрый день!

– Здравствуйте! – Верунька соскочила с табуретки, густо покраснев от смущения и робости.

– Гурий, – представился хозяин девушке.

– Ты что, совсем белены объелся? Веруньку не узнаешь? – напустилась на мужа Ульяна.

– Какую Веруньку?

– Соседку нашу.

– Соседку? – Гурий так ничего и не понимал.

– Соседку по дому. Ну там, на Урале, в Северном.

– Н-не-е... узнаю... – пробормотал Гурий.
– Да это же Верунька, Ивана Салтыкова дочь! Что, совсем своих забывать стал?!

– Верунька? Салтыкова? Так она же всегда вот такой была, – показал Гурий рукой чуть выше своего пояса. – Надо же, как выросла. Совсем взрослая стала.
– Вот, гостинцы нам с Урала привезла. От матери с отцом.
– Спасибо, Вера, – опять едва приметно поклонился Гурий и хотел было уйти к себе, в комнату, но Ульяна остановила его:
– Ты хоть знаешь: Верунька теперь в Москве живет?
– Да?! – удивился Гурий.
– Ага, – кивнула Верунька. – По лимиту устроилась. На стройку. Живу пока в общежитии.
– Вот думаю: поздравлять – не поздравлять? Трудно здесь, в Москве, – сказал Гурий. – Одиноко. Особенно нам, провинциалам.
– Ну, тебе-то, положим, не очень одиноко, – вставила насмешливо Ульяна. – Три дня где-то пропадал – и одиноко ему. Скажите на милость!
– Ладно, я к себе, заниматься, – и Гурий, забыв разом все только что произнесенные и услышанные слова, словно впал в отрешенное состояние и направился в свою комнату.
– Ну, мне тоже надо идти... спасибо за чай, за гостеприимство! – заторопилась Верунька и стала накидывать на плечи пальто.
Ульяна отчего-то улыбнулась:
– Ладно уж, беги, – и тихонько добавила Веруньке на ухо: – Но уговор наш помни: в следующий раз захвати ухажера. Хочу взглянуть, что он за птица, – и нажала Веруньке на нос, как на кнопку.
Вера улыбнулась, расцеловала на прощание ребятшек – и исчезла, будто и не было ее только что в гостях.

Дня за три до Нового года в дверь квартиры неуверенно позвонили; Ульяна открыла – за порогом смущенная, запорошенная снегом Верунька, рядом с ней – парень в мохнатой шапке, в черном полушубке с рыжевато-красным – колечками – воротником, с такими же рыжевато-красными отворотами на рукавах и самое главное – в валенках (что непривычно для Москвы).

– Мы тут мимо шли, гуляли, я и говорю Сереже: давай заглянем? Здравствуй, Ульяна! Не помешаем?

– Здравствуйте, здравствуйте, молодежь! Проходите, не стесняйтесь, – запросто пригласила их в дом Ульяна.

– Вот, знакомьтесь, – когда разделись, представила Верунька: – Это Сережа, а это Ульяна.

Ульяна с Сережей пожали друг другу руки, улыбнулись. Рука у Сережи была крепкая, рукопожатие сильное, мужское. Ульяна даже шутливо ойкнула, из-за чего Сережа смутился слегка.

– А мы с шампанским! Можно? – спросила Верунька. – Новый год скоро, решили поздравить вас...

– Можно, можно, – приветливо проговорила Ульяна. – Проходите.

Прошли на кухню, сели за стол; услышав, что из крана методически капает вода, Сережа приметно поморщился.

– А ребята где? – поинтересовалась Верунька.

– В саду. Где им еще быть, – объяснила Ульяна.

– Мы вот тут гостинцы им принесли, – и Верунька достала из сумки два ярких разноцветных пакета с нарисованными на них дедом Морозом и Снегурочкой.

– Ну, в этом году вы первые, кто поздравляет их. Спасибо! – поблагодарила Ульяна.

– А дядя Гурий на работе?

Ульяна непроизвольно усмехнулась:

– «Дядя»-то? «Дядя» на работе. Опять ты за свое, Верунька?

– Да не могу я так сразу.

Зато Сережа, не в пример Вере, быстро освоился в гостях, Ульяну стал называть на «ты», да и не это примечательно, а то, что как только женщины стали готовить кой-какую закуску на стол, он неожиданно спросил у хозяйки:

– Ульяна, инструмент есть какой в доме?

– Инструмент? Что за инструмент?

– Ну, плоскогубцы, отвертка, молоток. Я бы хоть кран подтянул пока.

Ульяна обрадованно достала из кладовки небольшой посылочный ящик, в котором и хранился весь домашний инструмент:

– Вот.

– Так, посмотрим...

Минут через пять, не больше, кран был починен; сам по себе он был не так еще плох, просто стнила резиновая прокладка. Сережа вырезал из толстой подошвы нужный кругляш, проколол шилом посредине резины дырку, вставил кругляшок в металлический ободок – и прокладка была готова. Закрутил кран – он как новенький стал, ни одной лишней капли не падало в кухонную раковину.

– Ой, Сережа, спасибо тебе! Сколько Гурию говорила: почини, почини! – с него, как с гуся вода. Вот что значит настоящий мужчина.

Сережа на все эти Ульянины слова только горделиво усмехнулся и отправился в ванную – отмыть руки. Но и там, увидел он, была примерно та же картина: вода не только капала из крана, давно образовав на раковине желто-ржавый след, но и просачивалась в саму ванну через изножье крана. Пришлось Сереже и тут засучить рукава, причем в буквальном смысле. Серый свой грубошерстный свитер он стащил через голову, а рукава голубой футболки засучил покороче, чтоб не испачкать майку.

– Газового ключа нет? – выглянув из ванной, спросил он у Ульяны.

– Все, что есть, в ящике, – развела руками Ульяна.

– Ладно. Придется плоскогубцами.

Когда он скрылся в ванной комнате, Ульяна поинтересовалась у Веры:

– Он кто у тебя? Ишь хваткий какой.

– Сантехником работает. За что ни возьмется – все у него получается.

– Молодец! – похвалила Ульяна. – Такие мужики мне нравятся. Не то что наши мямли.

Вскоре был починен и кран в ванной. Помыв хорошенько руки с мылом, надев свитер, причесав черные свои, кудрявые волосы, Сережа, довольный и сияющий, вернулся на кухню.

– Инструмент я пока там оставил, в ванной, – сказал он Ульяне.

– Ладно, я потом уберу. Садись, Сережа, все уже готово, – Ульяна показала на самое почетное (обычно хозяйское) место. – Спасибо тебе! Теперь буду знать: если что отремонтировать – попрошу тебя.

– Точно, – согласился Сережа.

Только они сели за стол и разлили по бокалам шампанское, в квартиру вошел Гурий. Между прочим, Сережа за минуту до этого спросил: «Хозяин-то скоро с работы вернется?» – «Не знаю», – пожала плечами Ульяна, и вот – оказался муженек легок на помине. (Почему-то Ульяне думалось, что Гурий всегда появлялся не вовремя, хотя как сказать: может, наоборот, с его-то точки зрения, он объявлялся как раз вовремя.)

Ну, познакомиться – познакомились быстро, сели за стол вчетвером, Ульяна произнесла тост:

– С наступающим Новым годом, что ли?! А, молодежь?

– Ага, с Новым годом, с новым счастьем! – весело-игриво поддержала ее Верунька.

Мужчины выпили молча. А через некоторое время Сережа поинтересовался у Гурия:

- Слушай, старик, ще туту вас можно покурить?
- Покурить? – Гурий растерянно взглянул на жену: где, мол, можно у нас курить?
- Вообще-то курящих мы отправляем в туалет, – с улыбкой извинения объяснила Ульяна. – Но тебе, Сережа, разрешаем курить здесь. Кури!
- Ну нет, – не согласился Сережа. – Всем так всем в одном месте, – и он решительно поднялся из-за стола.

Через минуту, выглянув из туалета, он крикнул Гурию:

- Слушай, старик, тащи-ка ящик с инструментом из ванной!

Гурий непонимающе смотрел на Сережу. (Вообще-то со стороны было забавно наблюдать, как Сережа, который лет на восемь младше Гурия, запросто обращался к хозяину на «ты», называл его «стариком», относился как бы покровительственно, что ли. Во всяком случае, если не всем, то Ульяне это действительно казалось забавным.)

- Чего смотришь? Бак у тебя течет. Тащи инструмент!

Бачок в туалете и в самом деле давно протекал; и не то что бы расколот был, нет, а вот протекал – и все тут.

Пришлось Гурию слушаться – принес инструмент Сереже. Тот быстро открыл крышку.

- Смотри, – и показал пальцем, – вот здесь, видишь, поплавков слишком высоко всплывает? Берем вот эту штуку и... – Сережа захватил плоскогубцами толстый металлический стержень, изогнул его в нужную сторону и опустил резиновую грушу на воду: уровень воды в бачке резко снизился. – Видишь, теперь не должно подтекать...

Проверил несколько раз – с поплавком действительно все в порядке, а вода все равно потихоньку-помаленьку сочится в унитаз.

- Ага, ясно, – немного подумав, хмыкнул Сережа. Закрутил вентиль, слил воду из бачка, протянул руку к Гурию: – Отвертку!

Гурий послушно подал отвертку.

Минут десять возился Сережа с не очень-то и хитрым устройством, а вспотел изрядно. Закавыка оказалось в том, что нижний поршень порядком истрепался, резина потрескалась, и именно через эти мелкие трещинки пробивалась вода. Опять ножницами Сережа вырезал из подошвы упругое резиновое кольцо и наставил его на поршень, будто насадку сделал.

- Вообще-то поршень менять надо, – объяснял Сережа с придыханием, ловко работая где отверткой, а где плоскогубцами. – Но первое время и такой послужит.

Пока мужчины занимались ремонтом, Ульяна с Верунькой потихоньку секретничали. Выбор Веруньки Ульяна одобрила, но строго наказала:

- Смотри, только в главном ему не уступай!

- В чем это, в главном? – не понимала Верунька.

- Ну ты что, дуручка совсем? – улыбалась недоверчиво Ульяна. – Совсем не понимаешь?

- Нет, – мотала головой Верунька.

- Ну, как тебе объяснить... Одним словом, с парнем все можно, только в постель с ним не ложись. Поняла?

- Да ты что, Ульяна?! Да Сережа... он такой хороший... добрый... что ты! Он меня не обижает.

- Честно?

- Честно.

- Смотри какой, – усмехнулась Ульяна. – А все равно будь осторожна. Уж больно он мастер на все руки. Не по годам умелый и серьезный. Да, видать, и опытный.

- Что ты хочешь сказать этим?

- А то и хочу, что ты – зеленая, а он калач тертый.

- Тс-с... – Верунька приложила палец к губам: на кухню возвращались мужчины.

– Ну, теперь бачок в полном ажуре! – произнес Сережа, довольно потирая руки.

– Вот спасибо, – еще раз поблагодарила Ульяна. – Значит, на будущее договорились: если что понадобится – приглашаем Сережу, так?

– Точно, – подтвердил Сережа.

В дальнейшем разговоре ничего особенного не было, да и просидели гости недолго: еще минут десять-пятнадцать. А там и засобирались домой, в общежитие. Правда, один раз, из вежливости, Верунька поинтересовалась у Гурия (он сидел за столом не улыбочивый, серьезный, сосредоточенный на чем-то своем, будто отрешенный от всего мира):

– Трудно быть художником, дядя Гурий?

– Опять ты за своего «дядю»? – укорила ее Ульяна.

– Художником? – задумался Гурий. – Я не художник. Далеко мне до художника, ребята.

– Как же? – не поняла Верунька. – Вон у вас сколько нарисовано...

– И, правда, старик, брось скромничать, – обронил Сережа. – Художник – значит художник. Скажи лучше: много заколачиваешь?

– Не в этом дело, – вздохнул Гурий. – Не в деньгах дело. Жить надо по-человечески. Вот что главное. А мы не живем. Не умеем жить по-настоящему. Все только готовимся; а потом глядь – и нет нас.

– Философствуешь много, старик. Базар разводишь. Смотри на жизнь проще, – подсказал Сережа. – Смотри в корень!

– Вот-вот, – согласился Гурий.

Но весь этот диалог прошел незамеченным; Ульяна только немного поморщилась: терпеть не могла, когда заходили разговоры на отвлеченные темы. Тут у Гурия не заржавеет: красивые и умные словечки он говорить мастак. А вот кран починить, унитаз отремонтировать – тут художников сразу нет, тут нужны люди мастеровые, не болтуны. Вроде Сережи.

Кстати, когда гости ушли, Ульяна так и сказала Гурию:

– Вот они, мужики настоящие! Один раз пришел – и сразу все починил. А ты? Годами исправить ничего не можешь.

– Да, да, – согласившись с женой, невнятно пробормотал Гурий. – Это ты верно говоришь, верно... – и, как тень, исчез в своей комнате: так ему вдруг захотелось набросать на бумаге лицо Сережи, кудрявую его голову, улыбку. И уверенность жестов, и жесткость характера. И как-то совсем не вязалась рядом с ним Верунька Салтыкова. Или он ошибался, Гурий?

В феврале, накануне праздника, Сережа с Гурием нос в нос столкнулись в винном магазине на улице Георгия Георгиу-Дежа.

– О, старик! Здорово! С наступающим тебя! – Сережа, не жалея молодецкой силы, крепко пожал Гурию руку.

– Взаимно, – улыбнулся Гурий.

– Слушай, ну как там, не текут мои краны?

– Не текут.

– То-то. А ты чего такой кислый? Вина – полная охалка, а вид – как на похоронах.

– Да так... – Гурий не стал объяснять, что в очередной раз поссорился с Ульяной, хлопнул дверью и ушел куда глаза глядят.

– Слушай-ка, – загорелся Сережа, – поехали к нам в общагу, а? Развеешься немного, а то закис небось на домашних харчах. Поехали, а?

– Да вроде никто не приглашал...

– Я приглашаю! – Сережа ударил себя в грудь. – И потом, слушай: художник должен знать народную жизнь.

– А она у вас там народная? – улыбнулся Гурий.

– А как же! Набили дураков в общежитие, как селедок в бочку, – живи, шантрапа! Строй светлое будущее!

– Ядовито сказано, – прокомментировал Гурий.

– А ты что думаешь: если мы дураки, то и чувство юмора потеряли? Только им и живем.

Одним словом, согласился Гурий, к тому же хандра его мучила, ощущение творческого бессилия: что ни делай, все не то, не так... Отчего не посмотреть на другую жизнь? на новых людей? Сели в троллейбус, и минут через пятнадцать были у метро «Октябрьское поле». Здесь, в угловом здании, и находилось общежитие строителей. В подъезде, куда зашли, первое, что бросилось Гурию в глаза, – множество детских колясок. На всех этажах, на всех лестничных площадках. «Живем – не тужим», – хмыкнул Сережа. «Ясно», – сказал Гурий. С внешней стороны, если судить по фасаду, по облицовке, здание вроде бы не старое, но внутри – запущенное, лестницы разбиты, двери обшарпаны, во всем чувствовалось запустение, безразличие и неухоженность. «Тут круговорот жизни, – объяснил Сережа. – Одни въезжают, другие уезжают. Пожили, познакомились, пережились, дитя родили, помыкались, смотришь – квартиру получили; а сюда другие въехали. И так без конца...» – «Ясно», – снова с пониманием кивнул Гурий.

Поднялись на третий этаж, толкнули огромную, в подтеках и бурых пятнах дверь («Это от вина», – объяснил Сережа) – открыто: заходи, кому не лень. Тут же вешалка: пальто, шапки, шарфы, ниже сапоги, туфли – бери что хочешь и уходи. «Воруют, но редко, – ответил на немой вопрос Гурия Сережа. – Могут и голову оторвать. Тут без церемоний...» – «Ясно», – в третий раз произнес Гурий.

Квартира была огромная, старинного типа, с большой прихожей, широким коридором, со множеством высоченных двустворчатых дверей; за каждой дверью – или семья, или несколько холостяков (холостячек); полы деревянные, давно не крашенные, облезлые и поблекшие; и опять же – множество колясок: и в прихожей, и в коридоре, и у дверей комнат.

– Раздевайся. Будь как дома. – Сережа в несколько коротких движений скинул с себя жаркий полушубок, мохнатую шапку, ботинки, остался в знакомом уже Гурию грубошерстном свитере и потрепанных джинсах. – Ну, чего стоишь?

А у Гурия (если честно) вдруг появилось странное желание: захотелось не раздеваться, а бежать отсюда. Исчезнуть, раствориться в неизвестности. Потому что нахлынуло, захлестнуло ощущение: он здесь – совершенно чужой, и все здесь – тоже чужое. Даже не так: будто здесь была своя, тайная, непонятная, трудная, неприглядная, неухоженная и неприглаженная жизнь, а он вдруг явился соглядатаем – из иного, чуждого всему этому мира. Но и тут же кольнуло в сердце: да из какого такого другого мира? Мир – тот же, только внутренне мы научились отгораживаться от того, что непонятно и неясно; чужая жизнь – она прежде всего и непонятна нам, оттого мы отгораживаемся и бежим от нее, как черт от ладана. Она, эта сторонняя жизнь, всегда обременительна душе, терзает нас, казалось бы, совсем без причины. Разве не так?

И Гурий взял себя в руки, прижал свое сердце, не торопясь разделся, подхватил сумку с вином. С этим вином в руках, с растрепанными волосами, в тонких цветных носках, с пузырями на коленях старых потертых брюк, с растерянными глазами выглядел Гурий весьма забавно (что и отметил про себя Сережа невольной внутренней ухмылкой). Впрочем, все это не имело никакого значения, и Сережа решительно распахнул дверь – ближайшую по коридору направо.

Там, за распахнутой дверью, встретили Сережу восторженным ревом: народ ждал вина. И народ его дождался!

Несколько девушек бросились к Сереже, поочередно целуя его в щеки:

– Молодец ты наш! – А Сережа, перекрывая общий гвалт, возвестил зычным голосом:

– А у нас гость – Гурий Петрович Божидаров! Прошу любить и жаловать.

– Да чего там, можно просто Гурий, – смутился гость.

– Ой, да это же дядя Гурий! – обрадованно воскликнула Вера Салтыкова. – Девчонки, я вам рассказывала, это мой земляк, художник! Здравствуйте, дядя Гурий! – она первая подпорхнула к нему и протянула крепкую ладошку.

– Здравствуй, Верунька! – тоже обрадовался Гурий: всегда ведь легче, когда в чужой компании есть хоть один знакомый человек.

– Вот, познакомьтесь, дядя Гурий, – начала представлять своих подруг Вера, – это Оля Левинцова, она у нас издалека приехала, из Киргизии, из села Петровка.

– Очень приятно, – сказал Гурий: ему и в самом деле понравилась Оля – со спокойной нежной улыбкой, светловолосая, очень приветливая и, кажется, с ровным добрым характером.

– А это – другая Оля, Корягина.

– Очень приятно, – повторил Гурий. И эта Оля ему понравилась: все время улыбается, с глубоким грудным голосом и озорными чертиками в глазах.

– А это – Нина Тремасова. Гроза мужчин! – При этих словах Нина громко рассмеялась: ее черные глаза, темные волосы, яркие губы и сочные белые зубы делали ее похожей на цыганку. И стан у нее был тонкий, гибкий – тоже как у цыганки. Гурий в открытую залюбовался ею:

– Очень приятно!

– Это – Валя Ровная. Тоже из Киргизии, из Петровки.

– Здрасте! – Валя Ровная сделала реверанс, и Гурий не знал, то ли это всерьез, то ли в шутку, и на всякий случай спросил:

– Вы не в балетной школе учились?

– Ага, в балетной. Штукатуром на строительных подмостках. А вы, случайно, не учитель пения?

Все в комнате так и грохнули от смеха.

– Она у нас такая, востренькая на язык, – поспешила объяснить Вера. – Не обижайтесь, дядя Гурий.

– Да нет, ничего, ничего...

Гурия посадили за празднично накрытый стол рядом с широкоплечим парнем, который довольно хмуро буркнул под нос:

– Володя. Залипаев, – когда ему пришлось пожимать руку Гурию. (Не любил Володя так называемых интеллигентов, тем более неизвестно откуда свалившихся на чужой народный каравай. А что Гурий пришел со своим вином, он об этом не знал. Да если б и знал, все равно не хотелось ему верить, что народ и интеллигенция могут иметь общий язык. Однако чуть позже, когда выпили покрепче, Володя Залипаев тряс Гурия за плечо и все повторял: «Не, я че хочу сказать-то, Гурий Петрович, бюрократов надо мести из нашей страны железной метлой. Вот у нас, в Красноярске, бюрократов меньше. А почему? Потому что там бюрократам не климат. Ага...»)

И последний, с кем пришлось познакомиться Гурию, был высокий, стройный, атлетического сложения молодой человек, который появился в комнате, когда все почти уселись за стол. Появился молодой человек под восторженный вопль публики: в руках он держал противень, на котором дымилось и источало тончайший аромат запеченное в майонезе свежайшее мясо!

– Прощу, господа! – И Леша («Алексей Герасев, младший лейтенант милиции», – как представился он позже Гурию Петровичу) ловким и безукоризненно точным движением водрузил противень на большую, опрокинутую вверх дном кастрюлю. Ах, что это было за мясо, какой аромат, какая душистость! – так и потекли у всех слюнки... И – пиршество началось.

Да, началось пиршество. Пили, ели, смеялись, Володя Залипаев ухаживал за светловолосой Олечкой Левинцовой (девушкой с улыбкой Джоконды), Леша Герасев – за Ольгой Корягиной (девушкой с глубоким грудным голосом Мэрилин Монро), Сережа Покрышкин, естественно, за Верунькой Салтыковой, ну а Ниночка Тремасова (ах, цыганка!), Валя Ровная (ах, востренькая на язык!) и Гурий Божидаров веселились сами по себе. Все было, как обычно

бывает в компаниях, одно для Гурия оказалось неожиданностью – естественность и непритязательность происходящего. Никто не старался казаться лучше и умней, чем был, во всяком случае, даже девушки не кокетничали и не капризничали понапрасну, а вели себя так, будто всюду была родня, которой нечего пускать пыль в глаза. Выходит, и он, Гурий, не казался им каким-то непонятным, особым, чем-то не от мира сего? Да, так и было, и Гурий был благодарен им за эти минуты полного растворения в их компании. Странно, не помнилось что-то за последнее время, чтобы в московских, истинно московских компаниях он чувствовал себя так же свободно, естественно, и все это потому, что никто не корчил из себя того, кем в действительности не был и быть не мог.

А уж когда к нему под села Олечка Левинцова (девушка с улыбкой Джоконды) и прямо спросила его:

– Вы любите целоваться, Гурий Петрович? – он и вовсе потерял ощущение реальности, сказал:

– Не знаю... Я, кажется, давно уже не целовался.

– Ах, я очень люблю целоваться... Знаете, Гурий, – загадочно улыбнулась Олечка, – можно, я буду называть вас Гурий? Знаете, мне восемнадцать лет, я никогда в жизни не видела настоящего художника, а вы такой простой, добрый, хороший и почему-то грустный, ну, почему вы такой грустный, Гурий? Не грустите, не нужно, никогда не видела живого художника и я не представляю, как они целуются, поцелуйте меня, Гурий, пожалуйста.

Гурий, опешив, поцеловал ее в щеку, а Олечка рассмеялась:

– Ах, не так, Гурий, по-настоящему, понимаете? В губы, пожалуйста! – Она закрыла глаза, обвила его шею руками и подставила для поцелуя прекрасные свои молодые губы. Что делать? Гурий вначале легко, нежно прикоснулся губами к ее губам, но столько мягкости, теплоты оказалось в этом легком взаимном прикосновении, что Олечка еще более требовательно потянулась к нему, и Гурий не устоял, закрыл глаза, обнял ее, молодую, гибкую, свежую, и поплыл, поплыл мир перед его сомкнутыми глазами.

А потом, хмельной, счастливый и свободный, он танцевал с Ниночкой Тремасовой, которая смеялась над его неуклюжими движениями, а сама, черная огненная цыганка, выделявала такие «па», что обмирало сердце у бедного пьяненького и стареющего ловеласа Гурия Петровича Божидарова.

Еще он помнит, как сидел на кухне рядом с Сережей Покрышкиным, на коленях которого непринужденно, как кошечка, устроилась Верунька Салтыкова, как пил с Сережей вино на брудершафт, а Сережа все повторял: «Не отрывайся от народа, старик, и будешь великим художником!» И хотя он говорил полную чушь, он был прав, этот слесарь-сантехник, и Гурий Божидаров соглашался с ним.

Сквозь туман помнится и то, как спорил Гурий с младшим лейтенантом милиции Лешей Герасевым. Гурий твердил: «Правда, правда нужна!» А Леша повторял: «Порядка мало, мало порядка, Гурий Петрович!» – И никак не могли они понять друг друга.

...А утром Гурий проснулся – никого в комнате. На столе записка:

«Ушли на работу. Дерзай, художник! Опохмелись, да и за дело. Не забывай нас! Всегда твои – ребята».

И только было хотел Гурий опохмелиться, как в комнату вошла незнакомая девушка. Была она в платье цвета хаки, с большим вырезом на груди и, кажется, без лифчика: красивая ее высокая грудь так и трепетала под нежной тканью платья.

– Кто вы?! – удивленно и строго воскликнула она.

– Я – Гурий Божидаров. Художник. А вы кто?

– Я?! Я – хозяйка комнаты, Татьяна Лёвина. Что вы тут делаете? – и она с брезгливостью осмотрела вчерашний праздничный, а нынче такой загаженный стол. – Ну-ка, давайте, художник, собирайтесь – и вон отсюда. Вон!

– Но я... – залепетал Гурий. – Мне... Вот записка.

Татьяна быстро пробежала глазами текст:

– Это ничего не значит! Быстро, быстро... уходите, да, да, я вам говорю! Художник он... Нагадили здесь, как свиньи, а мне убирать?

– Но как же, – пятился к двери Гурий, так, кстати, и не успевший опохмелиться, – как же... где вы были, если вы хозяйка?

– Я-то?! – сверкнула глазами Татьяна Лёвина. – Я в ночную смену работала, а вот вы тут что делали?! Вон, вон отсюда! – и она, выпихнув Гурия, в ярости захлопнула за ним дверь.

А он, Гурий, еще какое-то время постоял за дверью, чувствуя себя старым побитым псом. Заскулить хотелось, ох, заскулить, и в то же время, странное дело, так ему понравилась эта девушка, гневные ее сверкающие глаза, хозяйская твердая властность движений и – как контраст – эта ее нежная, высокая, полная грудь, сводящая его с ума. Вот бы прижаться к этой груди, зацеловать ее, обезуметь, утешиться... вот бы... Так ему вдруг захотелось любви, нежности, счастья обладания этим роскошным телом... И что же?! А ничего. Пришлось помятому, побитому, так и не опохмелившемуся – тащиться домой, к Ульяне, к семье, где все было буднично и прозаично.

Однажды, ближе к весне, Ульяна собрала какой-то сверток и на полдня исчезла из дома. Когда готовила сверток, потихоньку всхлипывала, и Гурий с удивлением покосился на жену:

– Ты чего это? Случилось что?

– Не твое дело! – отрезала Ульяна.

Гурий пожал плечами, нахмурился и ушел в свою комнату – работать. В последнее время Ульяна все чаще грубила ему, ни с того ни с сего срывалась на крик; впрочем, он догадывался: дело, скорее всего, в тех малых деньгах, которые он зарабатывал, но где и как он мог заработать больше? Да и не хотел он быть рабом денег в угоду жене. Чем больше художник принадлежит семье, тем меньше в нем внутренней свободы; а без свободы не может быть творчества, даже самого пустячного и непритязательного.

Из дома Ульяна ушла утром, а вернулась к обеду. Гурий слышал из своей комнаты, как она громко и, казалось, рассерженно гремела кастрюлями, как раздраженно хлопала дверцей холодильника, как неожиданно разбила какую-то чашку и долго чертыхалась по этому поводу.

Потом на кухне все стихло, будто вымерло, и Гурий невольно насторожился: что такое?! Выглянул из комнаты – Ульяна сидит за кухонным столом, спиной к Гурию, печально свесив голову, подперев руками лицо.

Гурий осторожно, чуть не на цыпочках, приблизился к жене. И поразился. Перед Ульяной стояла початая бутылка водки, рюмка, а в маленькой миске – маринованные уральские маслята. Гурий обошел кухонный стол, сел напротив жены.

– Ты чего это? – поинтересовался он.

– Чего тебе? – не грубо, но будто отмахиваясь от мужа, как от мухи, спросила Ульяна.

– Водку пьешь? – кивнул Гурий на бутылку.

– Хочу – и пью. Вам, мужикам, можно, а нам нельзя?

– Что случилось? – взяв себя в руки, стараясь не раздражаться, спокойно спросил Гурий.

– А то, что подлецы вы все, мужичье, и больше ничего!

– А конкретно?

– Конкретно? Да иди ты, знаешь, куда...

– И все-таки?

Ульяна отвечать не стала, налила себе рюмку, усмехнулась, выпила и закусила грибом.

Гурий смотрел на нее во все глаза: первый раз видел, чтобы жена пила в одиночестве. Муж рядом, а она пьет как ни в чем не бывало, надо же...

– В больницу я ездила, – наконец призналась Ульяна. – К Вере.

- К какой Вере?
- К Веруньке Салтыковой. Забыл землячку? – ухмыльнулась Ульяна. – С которой пьянствовал в общежитии.
- Я не пьянствовал. Я в гостях был.
- Ну-ну, не пьянствовал он... Все вы не пьянствуете. Чистенькими живете. А потом девки с пузами от вас ходят.
- Ты чего болтаешь-то?!
- А то и болтаю, что аборт Верка сделала. Вот что!
- Аборт? Как аборт?
- Да не бойся, не от тебя. Помнишь, слесарь-сантехник приходил к нам, Сережа? Так вот от него.
- Так ведь он... Ты же сама нахвалила его, вот, мол, мужик настоящий, один раз пришел – и все починил.
- У нас-то – да, починил, а в другом месте, может, жизнь поломал. Веркину глупую жизнь.
- Что, плохо с ней?
- Да нет, терпимо. Чего молодой девке делается? А только жалко ее... предупреждала я дуреху, просила... Так нет, неймется им, дурам.
- Да, жалко Веруньку, хорошая девчонка. – Гурий достал из буфета рюмку и тоже налил себе водки.
- Ага, жалко им, кобелям. Как лезть – так не жалеете?
- Теперь все виноваты?
- Все не все, а мужичье – точно. Спрашиваю: чего он, Сережка-то, не женится? А она: не верит он, что от него. Видал, как? Спать с ней – это он, а отвечать – это не он.
- Да нет, он. Кто еще? – нахмурился Гурий. – Я сам видел: у них любовь. Точно.
- Любовь, – усмехнулась Ульяна. – А спят все вместе, вповалку. Небось сам знаешь? Тоже спал с ними общим кагалом.
- Причем здесь я?
- А при том, что однажды придет какая-нибудь и скажет: здравствуй, Гурий, прими мои поздравления – ты отец моего ребенка!
- Ладно болтать-то.
- А чего? Увиливать начнешь? Вон Верунька сказала Сережке: от тебя забеременела-то, а он: откуда я знаю? Мол, сколько раз приходил, а среди вас, девок, то один мужик спит, то другой. «Так мы же так просто, по-братски», – плачет Верунька. «А я откуда знаю?!» – говорит Сережка. И правильно говорит!
- Выходит, конец любви? Обманул девку? А я-то хотел сделать его портрет.
- Известна ваша любовь... До постели – любовь, а дальше – до свиданья!
- Жалко девчонку. – Гурий взялся было за бутылку, но Ульяна вырвала у него водку из рук:
- Да пошел ты!
- Спрятала бутылку в холодильник, обернулась к Гурию разъяренная, с горящими глазами и едва ли не с ненавистью прошипела:
- Иди, работай, художник! Хватит лясы точить. Ну?!
- Гурий пожал плечами, съежился, как поколоченный пес, и поплелся в комнату: может, работать, а может – просто так сидеть, думать, мечтать.

Глава IV

...Той весной Бажену исполнилось чуть больше года, и хорошо, конечно, было бы прожить с ним долгое благодатное лето на чистом воздухе, в родном домашнем приволье.

Что делать в Москве? Нечего делать. И Вера с Баженом уехали на Урал, в родной поселок. Чуть позже, с началом летних каникул, должен приехать в Северный Гурий с ребятами, а пока Вера с Баженом отправились на Урал вдвоем.

Огород копали сразу после майских праздников. Земля подсохла; лишь кое-где, по низким затененным мыскам близ заборов или надворных построек прощально полеживал ноздревато-крупистый грязный снежок, однако по огородю земля мягко, желанно принимала хозяйскую стопу, будто прося: вскопай, взрыхли, окропи меня семенем – буду тебе благодарна, воздам сторицей, придет только время... Правда, на Верин вопрос: «Не пора ли копать?» – отец только хмыкнул: мол, рано девке подол задирать, коли еще не заневестилась, но Вера не послушалась отца, вышла на огород с лопатой – не терпелось окунуться в горячую желанную работу. А что до хмыканья отца, то она его вполне понимала: все еще не может простить, что не по-людски у дочери получилось: сначала родила, потом в невесты угодила. Да и в невесты ли еще? В жены ли настоящие? Вот жизнь-то покажет, ох, покажет...

Копать Вера начала с дальнего уголка огорода, от той березы, которую отец посадил, когда двадцать один год назад появилась на свет божий Верунька. Теперь, рядом с Вериней, давно окрепшей, густо-тенистой в летнюю пору березкой поднялся еще один росток. Посадила его сама Вера в прошлом году в честь рождения Бажена. И росток этот был не березка, а крохотный кленок, во славу мужичка, который, как ни хмурился Верин отец, все же продолжал именно его род, отцовский: фамилию Вера носила прежнюю – Салтыкова, под этой же фамилией жил и Важен.

Рядок за рядом продвигалась Вера вперед, копала неспеша, с упоенным чувством живой телесной радости, которая окатывала ее иной раз с головы до ног как бы совершенно без причины, просто от избытка чувственного наслаждения: теплое солнышко, теплая земля, горячая испарина по спине и плечам, рядом копошится крохотный ее сынок – с детской лопаткой в руке, чумазый, с белозубой простодушной улыбкой на пышнощекном лице... может, это и есть счастье?

Она не думала об этом, просто испытывала радостную слиянность нынешнего душевного настроя и того дела, которым занималась в эти минуты. Да еще дом родной рядом, да сынок-глупышок копошится поблизости, да еще и сам воздух словно напитан сладостью собственных детских воспоминаний и радостей...

Что еще человеку надо?

Конечно, посмотреть на ее жизнь сторонним взглядом – ой сколько бед да сложностей навалилось на молодую девку, уехавшую искать счастья в Москву, а с другой стороны, вот она, Верка, нисколько не потерявшая себя в столицах, не растерявшаяся от неожиданностей и козней жизни, наоборот, с достойным терпением несущая свой жизненный крест на шупленьких, будто еще совсем девичьих плечах. Откуда это в ней?

Ведь тогда, давно, в тот первый день, когда она осталась одна в общежитии, в той комнате, которая должна была стать для нее родным жилищем на долгие-долгие годы, когда опустошенно присела на краешек жесткой казенной кровати, ведь тогда именно душу ее окатил неожиданный и непонятный ужас, тоска окатила, страх, одиночество. И так стало жалко самое себя, что невольно, как у бездомного щенка, вырвался из груди стон не стон, а словно поскуливание какое-то, повизгивание, и она, обхватив голову руками, повалилась лицом на подушку и долго рыдала-плакала, пока в конце концов не унялась, не успокоилась от бессилья и душевного опустошения.

Странно, мечта ее, казалось бы, сбылась: она в Москве. Устроилась в ремонтно-строительное управление по лимиту, ей дали общежитие, живи, работай, радуйся, а она вдруг впала в страх, в тоску, в отчаяние. И, пожалуй, сильнее, чем в этот первый день, никогда более не испытала такого страстного желанья уехать, бросить все: Москву, работу, комнату, лишь бы вернуться домой, ко всему привычному, знакомому, родному.

Вот когда она почувствовала (тогда, в тот первый день в чужом казенном общежитии): юность кончилась – началась новая, одинокая, серьезная, взрослая жизнь.

Да, почувствовала это. Страхом, тоской, отчаянием, захлестнувшими душу, почувствовала.

Но поняла ли? Осознала ли до конца?

Нет. Не поняла. Не осознала до последнего предела. Не могла еще осознать. Ибо слаба была душой. И телом. И духом.

Оттого и мучилась так долго. Оттого и слез столько пролила, прежде чем твердо, ясно и окончательно поняла однажды: она – взрослая. И спрос с нее – тоже как со взрослой.

Но до осознания этой истины много должно было воды утекь...

Ведь и Сережа Покрышкин, первый ее настоящий ухажер, первый мужчина, по сути дела, оказался случайным эпизодом в жизни. И все по той же причине: ей было страшно, одиноко, трудно и тревожно в Москве, не к кому прислониться плечом, а тут вдруг сразу поддержка, защита, сила, уверенность в себе. Дан хотелось как-то показать окружающим, девчонкам по комнате, что и она не лыком шита, ей все нипочем, все она знает, все умеет, во всем разбирается. А в результате...

Да ладно, Бог с этим со всем, чего теперь вспоминать!

Вера воткнула лопату в землю, отбросила со лба влажную прядь волос, повернулась лицом к солнцу и сладко прищурилась под его теплыми ласковыми лучами. Господи, сколько ни мотайся по свету, где только ни живи, а нет ничего лучше родного дома, вот этого свежего струистого воздуха, этого нежного тепла весеннего пригревающего солнышка, которое бывает таким только здесь, на родине, и только вот в эту пору, в майские благодатные дни. Казалось бы, жить да жить в родном гнездовье, так нет, все нас носит где-то по свету, все ищем счастье на стороне, вдали от родительских пепелищ. А находим ли счастье? Когда как... иногда находим, но чаще всего – нет, наоборот, теряем последнее, что имеем.

Может быть, думала Вера, это последняя моя свободная весна, последнее вольное лето, потому что осенью Бажену исполнится полтора года, придется возвращаться на работу, заниматься делом, которое вовсе не по душе, которое просто кормит тебя, дает средства для существования.

И так будет продолжаться всю жизнь? Может быть, может быть...

– Мамка, ты чего стоишь? Чего лин-тян-нича-ишь? – вывел ее из раздумий Важен, и Вера легко отмахнулась от мыслей, улыбнулась сынку:

– Ишь строгий какой, прямо инспектор! Ну, давай будем копать дальше, давай.

Наблюдая за ними с крыльца, наконец не выдержал и Верин отец Иван Фомич, подошел к ним с лопатой в руках:

– Устыдили мужика. Ладно, Бог в помощь!

– Становись рядом, отец. Втроем-то мы ого-го как быстро махнем!

– Ого-го! – поддержал их малыш и весело рассмеялся: забавно ему было повторять такое смешное «ого-го».

...К полудню вскопали две больших гряды, и хотя земля, действительно, была еще сыровата, можно бы и подождать с копкой, отец рассудил так:

– Ничего, солнышко погрееет, ветерок посушит – в самый раз выйдет. Зато первые с картохой будем, так-то, ребята!

Шестого июня, в день рождения Поэта, приехал из Москвы Гурий, привез на лето старших сыновей Валентина и Ванюшку. Сам Гурий устроился жить в материнском доме, а Валек с Ваньком – в доме Ульяны, с бабушкой Натальей и дедом Емельяном. С тех пор, как Гурий ушел от Ульяны, он всегда сам привозил сыновей на Урал, но жили они не с ним, а с родителями Ульяны.

Так и получалось: Вера с Баженом – в одном доме (отец Веры не хотел признавать Гурия за дочериного мужа: не расписан – не муж); Гурий – в другом доме (со своей матерью Ольгой Петровной); Валентин с Ванюшкой – в третьем доме (у бабушки с дедушкой – с родителями Ульяны).

И все – соседи между собой; рядом друг с другом, но – не вместе. Вот такая штука.

Больше всех томился от этой несуразности Гурий. Во-первых, угнетало чувство вины, во-вторых, чувство неопределенности. Выходил утром из дома, садился на крыльцо – вон через забор, рядышком, строят самокат Ванек с Вальком. Бросал взгляд направо, через другой забор, – там грузит песок в детский самосвал Важен. Младший сынок работает самозабвенно, пыхтит, не замечает отца. А Валентин, тот сразу усмотрел Гурия, кричит:

– Папа, а как тут подшипник крепить, а?

Гурий, сонный, припухший, идет в одной майке к забору; идет огородом, по узким бороздкам между грядками; взошла уже картошка, полезли морковь, свекла, горох; огурцы расправляют листочки, редиска пошла в рост; пахнет свежестью, зеленью. У забора Гурий останавливается, говорит старшим сыновьям:

– Штырь надо потолще, понятно?

– А как крепить? – спрашивает Ванюшка.

Ну, разве объяснишь на словах? Гурий перемахивает через забор, подходит к ребятам. Через минуту забывает обо всем на свете, увлекается, как в детстве, вспоминает до мельчайших подробностей, как сами они, пацаны, в далекие послевоенные годы мастерили самокаты. Тогда не то что сейчас – тогда с подшипниками туго было, пойдя достань! Да еще разных калибров... А сейчас? Сейчас подшипник найти – плевое дело, любого диаметра. Но вот смастерить самокат – тут, братцы, все равно смекалка нужна, и Гурий берется за ножовку, молоток, гвозди, начинает открывать сыновьям премудрые секреты самокатостроения. Причем что заметил давным-давно Гурий – что быстрее всех схватывает секреты – буквально на лету – Ванюшка; видать, мастеровой парень вырастет. Гурий и сам, надо сказать, в детстве сообразительным был, многое умел делать своими руками, за многое брался (и получалось, вот что главное), а с годами растерял навыки, разучился инструмент в руках держать; не то что починить что-нибудь в Москве, гвоздь толком не может в стенку вбить, вот до чего дело дошло. Или тут художество его виновато? захватило целиком? душу в плен взяло? Бог его знает.

Гурий вбил в ядро подшипника крепкий дубовый околышек, сквозь дерево пробил негнувшийся стальной штырь в полмизинца толщиной, вставил подшипник со штырем в прорезь широкой доски, на которой будет стоять опорная, а не толчковая, нога, и гвоздями-скобами, предварительно остро обкусанными обыкновенными плоскогубцами, намертво закрепил штырь на доске.

– Вот так! – удовлетворенно хмыкнул он и даже, что редко с ним бывало, хвастливо прищелкнул языком: знай, мол, наших

– Спасибо, папа! – в один голос закричали ребята: подшипник, действительно, был накрепко приделан к доске.

Вдруг чувствует Гурий – кто-то трется около его правой ноги, пыхтит-сопит напряженно. Смотрит, а это младший его сынишка Важен, тоже рядом копошится. И главное – даже с самосвалом своим оказался тут.

– Ты еще откуда, пострел? – улыбнулся Гурий.

– Вон, видишь, дырка? – показывает Важен на забор. – Я там лазю. Я всегда! – и с гордецей это говорит, с самоупоеанием.

– Эх ты, клоп, – нажимает ему на нос Ванюшка, – все бы тебе в дырки лазить. А если б застрял?

– Не, не застрял. Я ух какой!

И все они, четыре родных мужичка, весело смеются.

– Я-то думаю: кто тут с утра веселится? А это вон кто. – Неожиданно к ним подходит мать Ульяны, бабушка Наталья Варнакова, первая теща Гурия. – Ну-ка, ребятня, пошли завтракать!

– Ну-у, бабушка-а, – недовольно заканючили пацаны, – мы потом, попозже...

– Быстрехонько, быстрехонько! – заворчала бабушка Наталья. – Ишь, спозаранку мастерскую тут открыли.

– Мы потом, – продолжали упрашивать ребята. – Ну-у, бабушка...

– Ладно, сынки, идите завтракайте, – поддержал тещу Гурий. – Самокат позже доделаем.

– И я с вами, – закричал Важен, – я тоже!

– Ага, пошли и ты с нами, – погладила его по голове бабушка Наталья. – Яичницу любишь?

– Не, я не есть, я самокат, – нахмурился Важен.

– Ну, пошли, пошли с нами, клоп, – Ванюшка подхватил младшего братца на руки. – У бабушки яйца не простые...

– А какие?

– А золотые... правда, бабушка?

– Правда, Ванюшка, правда, – улыбнулась мать Ульяны.

– Тогда ладно. Тогда пошли, – согласился Важен.

– Может, и ты с нами за компанию? А, Гурий? – как ни в чем не бывало спросила Гурия бывшая теща.

– Да нет, я уже позавтракал, – смутился Гурий. – Спасибо.

– А то смотри, – улыбнулась теща. – У меня к закуске и погорячей что найдется...

– Да нет, ладно, не надо, потом... – забормотал Гурий. – Спасибо.

– Вольному – воля, – вздохнула мать Ульяны. – Ну, пошли, ребятня!

И тройка братцев отправилась, как за наседкой, за нахохлившейся бабушкой Натальей в дом Варнаковых.

Гурий перемахнул через забор, снова уселся на крыльцо.

– Эй, муженек, – услышал вдруг, – здравствуй! Баженчика не видел?

Смотрит – за соседним забором стоит Вера, в легком цветастом сарафане, с открытыми, начинающими полнеть, но все равно такими прекрасными и родными плечами, улыбающаяся, свежая, прямо золотистая какая-то, светящаяся.

– К Варнаковым убежал, – ответил Гурий. – Завтракать его позвали.

– Ну и ладно, – продолжала улыбаться Вера. – Ты-то чего делаешь?

– Да вот, сижу...

– Приходи завтракать!

– Да нет, я уж как-нибудь тут перебыю.

– Чего ты? Дома все равно никого нет. Отец в лес уехал, мачеха в магазин ушла.

– Лучше ты сама приходи.

– Ох, дожили, – смеется весело Вера. – Жена мужа завтракать приглашает, а муж жену на свиданку зовет.

– Доживешь тут. С такой-то жизнью.

– Кто у тебя дома-то? – игриво спрашивает Вера.

– Мать дома, кто еще, – говорит Гурий.

– Ну вот, – огорчается Вера. – Не обнимешь тебя... – И вдруг переходит на шепот: – Гурий, Гуричка, ну иди ко мне, иди, я соскучилась. Честное слово.

– Да ты что, дурочка, белены объелась? Среда бела дня?

– Гуричка, честное слово, соскучилась. Ну, чего ты? Иди, ну иди, пока никого нет... ни ребят, ни отца с мачехой.

Гурий, странное дело, воровато оглядывается и вдруг, лихо гикнув, перемахивает через забор – прямо в объятия жены; правда, жены незаконной, не расписанной с ним... Но им-то какое дело?

Потом, когда они лежат в чулане, опустошенные счастьем близости и взаимной нежности, они долго и смешливо шепчутся обо всяких пустяках, но постепенно жизнь как бы отрезвляет Гурия, он начинает жаловаться Вере, что трудно ему здесь, неуютно как-то и неприкаянно, дома косятся, у тебя косятся, у Ульяны – тоже косятся... Не знаешь, куда и спрятаться от всех.

– А ты не обращай внимания, – шепчет, успокаивает его Вера. – Я тебя люблю. Сыновья любят. Это главное. А остальным до нас дела нет.

– Да что я как вор здесь живу?! На улицу выйдешь: «Гурий Петрович, – подзуживают соседи, – как Ульяна поживает? Как Вера? Ах, какие они обе у вас хорошие, красивые, пригожие! А детки? Сыночки? Ну просто прелесть... И главное – все на вас похожи. Вот счастливый отец!»

– И правда, – тихо смеется Вера, – не счастливый, что ли? Плюнь ты на этих соседок, им самое важное – языки почесать. Вот и все.

– Может, уехать мне?

– А мы на все лето одни здесь? Да ты посмотри, как сыновья к тебе тянутся. Вот и пользуйся моментом, воспитывай их. Сколько раньше переживал: как Ваня с Валею будут жить без меня?! Ну вот, они рядом – что же ты? Радуйся!

– Да они-то рядом... Это верно. Зато сколько косых взглядов вокруг?

– Плюнь, не обращай внимания. Лучше поцелуй меня! Еще, Гуричка, еще... вот так. Ах ты мой глупый, любимый, страдалец ты мой... Люблю тебя, люблю, люблю!

Иногда Гурий не выдерживал, уходил из дома.

Как прежде, как много лет назад, брал с собой альбом, карандаши или гуашь и бродил то по лесу, то забирался на Малаховую гору, а то оказывался на Высоком Столбе, откуда по-прежнему открывались безмерные уральские дали, леса, дороги, синие пруды и длинные извилистые речки – Чусовая и Северушка.

Опять и опять он делал наброски, эскизы, мучился все той же прежней идеей: хотел разом выразить суть жизни в каком-то одном рисунке, который бы объят собой все – и смысл, и красоту, и глубину, и единственность жизни. Однако странное дело: теперь, когда он стал старше, умней, опытней, эта идея еще больше ускользала от него: рука слушалась, но сердце молчало. Раньше сердце его разрывалось на части, кричало, неистовствовало, было переполнено горделивой мечтой поразить мир прекрасной совершенной картиной, ибо чувственная предтеча этого совершенства явственно ощущалась в душе, только нужно было передать ее через линию и красоту рисунка; а теперь? А теперь душа оставалась холодной и пресной, то есть никак не подключалась к тому, что называл он «сердцем работы». Словно душа его – это одно, а рисунок, линия – совсем другое. С некоторого времени он стал все явственней ощущать в себе эту двойственность состояния, и это раздвоение мучило его не меньше, чем прежняя неопытность, когда не слушалась рука и не подчинялась линия; теперь – рука слушалась, линия подчинялась, но рисунок получался неодоухотворенным, холодным и пустым, ибо оставался лишь слепой копией жизни.

Раздосадованный, опустошенный, Гурий возвращался домой, где тоже не находил себе места: здесь на его глазах продолжалась прежняя несуразная жизнь, и причиной несуразности

был прежде всего он сам, Гурий Божидаров. И еще сильнее начинало угнетать чувство вины, ирреальность происходящего.

Впрочем, почему ирреальность?

Вот он пришел домой, забросил на веранду альбом, краски и карандаши, вышел на крыльцо, сел на ступеньки; там, за забором, во дворе Варнаковых, кипит работа. Ванек с Валентином носят доски, что-то отмеряют, кладут доски на козлы; Вера, веселая, загоревшая, в одном купальнике (ее только там не хватало, думает Гурий, да еще в таком виде), так вот – Вера подхватывает ножовку и начинает азартно пилить доску. Рядом с ней вертится Важен, придерживая доску за свободный конец, и Вера не прогоняет сына. («Еще оттяпает ему руку», – думает Гурий.) Отпиленные по определенному размеру доски Ванюшка с Валентином уносят в сарай, а Вера с Баженом продолжают работать дальше. Вот слышится: застучал молоток, а через несколько минут – перебранка ребят:

– Да не так, не так бей! Эх, мазила!

– От мазилы слышу! На, забивай сам, если такой умный.

– Ну и буду. Давай.

И опять слышится стук молотка, а через некоторое время новая перебранка:

– Что, съел? Тоже мне – народный умелец! – Ладно. Я хоть по пальцам не бью. А ты...

– А я что? Один раз только и долбанул тебя. – Ага, мало одного? Молотком по пальцу?! Раскрасневшиеся, злые друг на друга, ребята выскакивают наружу, и тут Валентин замечает на крыльце отца, кричит:

– Папа, помоги нам! Слышишь?

И все разом – и Вера, и Важен, и Ванюшка – тоже поворачиваются к нему и кричат:

– Пожалуйста, папа! Помоги!

Он, с не очень большой охотой, поднимается со ступеньки, подходит к забору:

– Ну, чего тут у вас?

– Нам дедушка с бабушкой курятник отдали, – объясняет Валентин.

– Курятник? – усмехается Гурий. – Теперь будете вместо кур на шестках сидеть? – Гурий и сам не знает, почему говорит эту глупость, просто никак не может справиться с неожиданным внутренним раздражением.

– Ну, зачем ты так с ребятами? – укоризненно качает головой Вера. – Лучше посмотри, как они его отчистили, отскребли.

– А ты бы лучше халат накинула, – говорит он ей в прежнем раздраженном тоне. – Тут не пляж, кажется.

Густо покраснев – от обиды, от унижения, – Вера накидывает на плечи яркий цветастый халат и, подойдя к забору поближе, тихо говорит Гурию:

– Не с той ноги встал сегодня? Дед Емельян им курятник отдал, чтоб у них своя комната была. Вон, посмотри, как они ее отмыли.

– А ты здесь что делаешь? – Гурий продолжает ядовито усмехаться.

– Как что? Помогаю им.

– Дешевый авторитет зарабатываешь?

В глазах у Веры появляется укоризненная слезная пелена:

– Ну зачем ты так, Гурий?

Он и сам чувствует, что переборщил; берет себя в руки, перемахивает через забор. Тут же к отцу подбегает Важен, берет его за руку и тащит к сараю:

– Смотри, папка!

Гурий с некоторым недоверием входит в курятник. То, что он видит, действительно удивляет его. Раньше в этом небольшом отсеке сарая все было загажено курицами и петухами, внизу были кормушки, наверху – насест, длинные толстые жерди, тоже все изгаженные, а теперь...

Ну просто блистала комнатенка от свежести и чистоты! Все жерди убраны, кормушки выставлены, стены и потолок отчищены, отмыты (горячей водой с порошком, как объяснили позже ребята), а пол не просто вымыт, а поначалу выскреблен лопатами, вычищен ножами, а затем три раза промыт горячей водой с порошком, с добавлением дезодоранта. Чистая благоухающая комната!

Странное дело: у Гурия неожиданно меняется настроение, он невольно улыбается:

– А что, молодцы, пацаны. Честное слово, молодцы!

И всем становится хорошо на душе, у всех теплеет в груди, а Вера даже говорит:

– То-то же!

И Важен тут же повторяет за ней:

– Те-те же, папка, эх ты! – Он всегда чутко улавливает настроение родителей.

– Так... ну, и в чем тут у вас заминка? – интересуется повеселевший Гурий.

– Понимаешь, папа, – очень серьезно начинает объяснять Ванюшка, – внизу у нас будет жилая комната, а наверху мы сделаем полати. Бабушка обещала сшить из старого материала большой матрац, набьем его сеном, застелим одеялом, подушки возьмем и будем здесь спать, когда тепло. Здорово? Внизу настелим половики (бабушка отдаст нам старые), сделаем стол, табуретки, еще кой-чего придумаем, и будет у нас свое жилище. Даже вас будем в гости приглашать!

– А точно пригласите?

– Точно! – в голос кричат Ванюшка с Валентином. И Важен тоже кричит за ними следом:

– Точно!

– Ну, и что у вас не получается?

– А вот, видишь... По бокам мы хотим прибить бруски, потолще и покрепче, чтоб доски на них укладывать. Тетя Вера сказала: бруски лучше дубовые, они надежней. Взяли дубовые, а прибить не можем – гвозди гнутся. Вон, смотри – толстенные такие, а не идут. Все пальцы отбили.

– Силенки не хватает?

– Да нет. Просто не идут гвозди, и все.

– Не идут – и все, – повторил серьезно и деловито Важен.

– Тихо, клоп, – останавливает его Ванюшка. – Не мешай.

– Я не мешаю, я наоборот, эх, ты!

– Так, ладно, сейчас посмотрим. – Гурий подхватывает молоток, берет гвозди-двадцатку; под первым же его ударом толстенный гвоздище, действительно, гнется, как проволока. И главное – потом этот гвоздь никак не вытащишь плоскогубцами, так уцепист этот дубовый брус-сок-поперечина.

Намучился Гурий изрядно, прежде чем сумел-таки «пришить» бруски. Тут главное было сообразить, – как наносить удар: вначале несколько тихих, как бы нежных ударов по шляпке, а потом один – сильный и резкий, затем опять несколько тихих, как бы примеривающихся ударов, и снова – один резкий и мощный. В чем тут секрет – неизвестно, но при таком способе гвоздь не гнулся, а потихоньку-помаленьку, хоть и упрямо, но подвигался в глубину дуба. И уж, действительно, когда бруски были приколочены, а на бруски уложены толстые, сантиметра в три, доски, настил получился таким крепким и надежным, что мог вынести не только десятых пацанов, но и пятерых взрослых в придачу.

Сколько было радости у ребят!

А когда закончили настилать доски, из дома вышел хозяин, старик Емельян Варнаков; за последнее время он заметно сдал, как-то усох, сгорбился, к тому же отпустил густую белую бороду и стал изрядно походить на лесного гнома-боровичка. Поздоровался с Гурием за руку, похвалил ребятшек:

– А смотри-ка, молодцы, ребятёшки, молодцы... – и улыбнулся заискивающе Гурию.

Гурий стыдился старика, отводил от него глаза.

– А что, сынок, – напрямую обратился Емельян к Гурию, – не заглядываешь к нам? Вон мать говорит – приглашала. Не идешь.

– Да так как-то... вроде некогда, что ли, – забормотал Гурий.

– Иди, иди, загляни к ним, – подтолкнула Гурия Вера.

Гурия как током ударило:

– Ну, ты-то чего?!

– А чего? – как ни в чем не бывало проговорила Вера. – Не чужие небось. Зайди, попро-
ведай.

– Ага, ага, – обрадованно закивал головой старик, благодарный Вере за поддержку. – Пошли-ка, сынок, а?

Что делать? Гурий вздохнул с сомнением:

– Да не одет я... в трико, в майке. Неудобно...

– Э, брось, брось, сынок, – заулыбался старик, чувствуя, что Гурий начинает сдаваться. –
Какие там неудобства среди своих?

Гурий растерянно взглянул на Веру, а та улыбнулась ему ободряюще:

– Иди, иди... Ну, чего ты?

И пошел Гурий за стариком в дом; за ним, правда, тут же увязался Важен, но Вера оста-
новила его:

– А ты куда? Мы тут дела делаем, а ты бежать от нас?!

– А папка?

– У папы свои дела. Взрослые.

– А у меня?

– А ты с нами дом строишь!

– Дворец, мама, ага?

– Дворец. Точно.

– Ладно. Строю. Папка, я с Ваньком-с Вальком дворец строю! – закричал он вслед ухо-
дящему отцу.

Гурий ничего не ответил, они со стариком Емельяном поднимались уже по крыльцу в дом, не до младшего сына ему было.

В доме, на кухне, как по заказу, был накрыт стол. Это старуха Наталья, завидев еще в окошко, как во дворе разговаривают Емельян с Гурием и как они потом медленно пошли к дому, тут же сообразила накрыть на стол. Соленые огурцы поставила, маринованные маслята, капусту хрустящую, буженинку домашнего копчения, холодную вареную картошку, графинчик с медовухой; а если что еще надо – сообразят сами, подумала старуха, и чтоб не мешать мужикам, даже не стала встречать зятя у порога, а скрылась, спряталась в «малухе», в малой комнатенке, где обычно занималась рукодельем, обшивала семью одеждой.

А сидение на кухне у мужиков получилось удивительное. Выпили по одной, по второй, по третьей, почти не закусывая, потом просто сидели, молчали, вздыхали. Старик Емельян все не решался расспросить Гурия поподробней, поосновательней, как оно у них так с Ульяной получилось, что за напасть нашла и отчего семья развалилась... Кое-что знали они, конечно, со старухой, знали, что Ульяна сама выгнала Гурия из дома, и нет, не хвалили ее, не поддержи-
вали. Гурия-то она выгнала, он и ушел: мужик, он нигде не пропадет, он с другой бабой жизнь построи-
т, вон хоть с Веркой, чем девка плохая, молодая, красивая, добрая, замуж за Гурия не вышла, а сына от него родила, вот и разбирайся теперь, думай, что к чему. А к Гурию, как ни странно, не было у старика со старухой вражды, дочь-то свою, Ульяну, ох хорошо они знали, горячая, взбалмошная, упрямая, дров в любой момент наломать может... А по их разумению так: вышла замуж, поехала за мужиком по столицам – так слушайся его там, не перечь, палки ему в колеса не ставь; он хоть и не совсем мужик простой, художник, а все же мужик, а мужик

не потерпит, чтоб баба поперек его шла. Выгнала? С сыновьями осталась? Кукуешь теперь? Это еще хорошо – Верка ему подвернулась, своя, поселковая, от Ванюшки с Валентином отца не отвращает, а пожалуй, что и наоборот: все подталкивает его к ним, во как бывает... И вздыхал, вздыхал старик Емельян рядом с Гурием, но так ничего и не спрашивал. Им как-то и без разговора было все понятно, а от выпитого да от обоюдного молчания-согласия легче становилось на душе, теплей, прощеньей. Да и что мог спросить старик Емельян? Что мог ответить и объяснить Гурий? Уважали старик со старухой Гурия, вот хоть убей – уважали, потому что был он какой-то иной, загадочной породы, не как все они тут, в поселке; а в то же время – и свой он был, свой, другой бы, может, давно про сыновей забыл, а этот нет, не только помнит, а вот каждое лето с ними здесь, в Северном. Да и там, в Москве, ребята когда захотят, тогда и едут к отцу, к Вере с Баженом, никто от них не морщится, не отказывается, оглобли назад не поворачивает...

Так они сидели, пили, пьянели. И в основном молчали. И оттого, что Гурий знал, что старик относится к нему с непонятным почтением, в нем, в Гурии, иногда возникал пронзительный внутренний стыд и протест: он не хотел принимать этого почтения. Он чувствовал и знал, что не заслужил его, ибо в нем, в Гурии, нет того, чем наделяет его в своем воображении старик. Но как он мог объяснить такое Емельяну? В каких словах? В каких понятиях?

...Старуха Наталья слышит через час – полное молчание на кухне. Вышла потихоньку из «малухи», заглянула на кухонку – так и ахнула: спят, голубчики, свесив головы. Сначала старика подхватила под руку: отвела на диван; Емельян даже не очнулся, послушно передвигал ногами и улегся на подушки, не открыв глаза. А Гурий пришел в себя, встрепнулся на минуту:

– Что? Что такое?

Но старуха Наталья успокоила его:

– Ничего, ничего, сынок, все хорошо, пойдем-ка на веранду, отдохнешь малость, отдохнешь, голубчик...

На веранде, с трудом скинув с себя ботинки, Гурий повалился на диван и разом провалился в глубокий сон. Пока еще шел сюда, поддерживаемый рукой старухи, билась в голове мысль: домой, домой надо, а как лег – сразу все забылось, и он уснул крепким богатырским сном.

Между прочим, диван, на котором он спал, был давний его знакомец. Некогда, в пору их любви с Ульяной, сколько вечеров провел Гурий на этой веранде, сколько поцелуев и объятий случилось именно на этом диване, да и первая их дивная близость тоже произошла здесь, на этом диване.

А теперь Гурий спал на нем, как пустой выпотрошенный мешок. Странная жизнь...

Впрочем, почему странная?

Иногда она была самая что ни на есть обыденная, реальная.

Например, на речке, на Чусовой, во время рыбалки, натолкнулись ребята на разохшую лодку, спрятанную в кустах тальника. Сколько она там пролежала, эта лодка, неизвестно, но и дно ее, и борта были изрезаны крупными расщелинами, иногда с мизинец толщиной; да и это бы еще ничего, главное: нос лодки был наполовину сколот, так что вода, пусти только лодку на Чусовую, залила бы посудину в одно мгновение. Но сколько Ванюшка с Валентином мечтали о своей лодке! И тут вдруг такая находка... Неужто ничего нельзя сделать – как-то отремонтировать, подлатать посудину? Конечно, вдвоем-то им лодку даже с места не сдвинуть, и они пришли к отцу: папа, помоги! Гурий поначалу рассердился на них: что за лодка?! Чужая наверняка, раз в кустах, значит, кто-то спрятал до лучших времен?! Но когда сам пришел на речку, убедился: нет, лодка давным-давно заброшена, давно никому не служит, да и послужить вряд ли сможет – видать, вышел ее срок... Но сыновья не отставали от Гурия: давай попробуем, давай отремонтируем! Что делать? Гурий понимал возможную зрящность затеи, но и отказать

ребятам вот так сразу, резко, тоже не мог. А с чего начинать? С великими трудами вытащили вчетвером (Вера тоже помогала, да и Важен под ногами вертелся) лодку из кустов, перевернули вверх дном. Затем на костре, в старом мятом ведре, растопили вар и стали заливать щели густой тягучей массой. Вар схватывался быстро, начинал глянцевито и красиво блестеть; казалось, лодка прямо на глазах оживает. Когда дно и борта залили варом с внешней стороны, то лодку перевернули и установили ее на дно. К отколотому носу аккуратно прибили березовую баклажку, а затем и нос, и дно, и борта лодки густо просмолили варом и с внутренней стороны. Получилась, кажется, не лодка, а загляденье!

– Ур-ра! – закричали сыновья.

Но когда спустили лодку на воду, из всех расщелин (казалось бы, так плотно залитых смолой) стала густо сочиться вода, а потом вода откровенно потекла внутрь лодки, будто и преграды никакой не было; а уж о том, что нос тотчас залило водой, и говорить не приходится. Ребята сразу сникли.

– Ну вот, – обреченно махнул рукой Гурий, – я же говорил: ничего не получится...

А Важен, видя, как опустили головы братья, как враз испортился у них такой веселый и радужный настрой, даже заплакал, на что тут же отреагировала Вера:

– Ну, ты еще будешь портить настроение! – и хотела в сердцах шлепнуть его, но тот быстро смекнул и спрятался за спинами старших братьев.

Что делать?

Дня через два Вера уговорила своего отца, Ивана Фомича, прийти к реке, посмотреть на их «рукоделие». Очень не хотелось Ивану Фомичу приходить – видеть он не мог Вериного «суженого», но, с другой стороны, пацаны Ульяны и Гурия, Ванюшка с Валентином, вызывали в нем чувство сродни скрытому уважению: уж больно самостоятельны, любознательны, не ленивы, совсем на городских не похожи, тем более на москвичей... Был Иван Фомич мужиком еще молодым, сорока трех лет от роду, всего на десять лет старше Гурия; в далекие годы, случалось, даже в одних игрищах приходилось им принимать участие, например в игре в лапту, где и взрослые пацаны по 14–15 лет, и малые по 4–5 лет едва ли не на равных бегают за мячом. Даже странно и подумать нынче такое: Иван Фомич и Гурий – в одной игре забавляются. Ибо теперь, по прошествии-то многих лет, Иван Фомич с его густой черной бородой, с широкими вразлет бровями, с недоверчивым взглядом колюче прищуренных глаз и серьезно сжатыми неулыбчивыми губами мог бы, наверное, и в самом деле сойти за отца Гурия, безбородого, безусого, мало что умеющего и ни к чему, по мнению Ивана Фомича, не приспособленного, кроме как портить бабам судьбу да плодить детей-безотцовщину. А это тем более грех, при живом-то батьке. Не только не любил Иван Фомич Гурия, главное – не уважал; и слышать не хотел от дочери, что она теперь – жена Гурия. Хорош гусь: с одной еще не развелся, а уже с другой живет как с женой. Сладкая малина получается... Но что делать? Ради пацанов, Вани и Валентина, согласился Иван Фомич заглянуть с дочерью на реку.

Пришел, посмотрел на лодку. Покачал головой. Усмехнулся недобро. Усмешка эта относилась прежде всего к Гурию, который сидел замшелым пнем на берегу Чусовой с удочкой: делал вид, что занят рыбалкой.

Прежде всего вырубил Иван Фомич тройку ваг да несколько бревнышек потолще, и накатали они все вместе лодку на бревна, чтоб постояла да просушилась она основательно на ветру да на солнышке. Затем остро, цепко осмотрел нос лодчонки: да, дела невеселые... Что нос расколот – это полбеды, хуже, что он сгнил основательно, раструхлявился. Тут никакая латка не поможет, новый нос нужно рубить. А стоит ли? Задумался Иван Фомич. Конечно, если хозяйски подходить, серьезно, лодку надо бы на слом да на дрова, вон хоть в тот костерок дровишки пойдут, что дымится на берегу Чусовой. Но, с другой стороны, понимал Иван Фомич пацанов: свою лодку охота им иметь, пусть плохонькую, да свою. Так что сомнения Иван Фомич отбросил, постоял рядом с лодкой, помороковал над ней, измерил носовую часть рулеткой,

щели получше рассмотрел. А через три дня в рюкзаке принес выструганный и ошкуренный до лоснящегося блеска новый нос для лодки: выделал он его из доброй смолистой сосны, из крепкого комелька, который сохранился у него в дровянике еще с прошлого года, когда рубил делянку по красногорской дороге. Не все тогда на дрова пошло, кое-что оставил Иван Фомич для хозяйства, а несколько сосенок, особенно прямоствольных, строевых, пустил в продольный распил, на доски; можно бы, пожалуй, из досок новую лодку сварганить, да решил отложить такую затею Иван Фомич до других времен: пацанам ведь главное – свою лодку отремонтировать, ту, которую нашли, которая их собственностью стала. А что толку, если им кто-то новую лодку сварганит? Это неинтересно.

Что удивительно – новый нос, посаженный на шипы и деревянный клей, так слился со старым остовом лодки, будто век сидел здесь: недаром Иван Фомич делал точные замеры рулеткой. Ванек так и присвистнул:

– Вот это точность, американская!

– Не американская, – усмехнулся Иван Фомич. – Мастерить-то меня отец учил. А отца – дед. А деда – прадед. Понял, Ванюшка?

– Понял? – повторил вопрос и Важен.

– Ну ты-то, клоп, помалкивай, – Ванюшка подхватил братца на руки и стал щекотать. – Вот сейчас защекочу – тогда узнаешь!

– Тихо, тихо, ребята, – стала успокаивать их Вера.

– Вы вот что, пацанва, подбросьте-ка дровишек в костер, – приказал Иван Фомич, – да гудрон в ведре ставьте. Пусть растапливается пока.

Ребята, вся тройка, бросились к костру, а Иван Фомич сказал Вере:

– Принеси-ка рюкзак сюда... Шнур мне нужен. Вера тотчас принесла отцу рюкзак.

– А этому своему, – кивком головы указал Иван Фомич на Гурия, – скажи: пусть черпалку возьмет, гудрон помешивает.

Надо сказать, Вера относилась с юмором к взаимоотношениям отца с Гурием; не то что бы она не переживала, что отец не признавал Гурия за ее мужа или что Гурий побаивался и сторонился ее отца (переживала, как не переживать), но умела настроить себя так, что видела в этом и смешную сторону: два мужика, как два индюка, надулись друг на друга, а смысл какой? Вера все равно живет с Гурием. Будет отец признавать Гурия или нет, будет Гурий сторониться отца или нет, Вера давно породнила их, через себя породнила, через Бажена, так что смешно ей частенько было, что два взрослых мужика никак не уяснят себе такой простой и очевидной истины. Вот и тут не выдержала, рассмеялась на кивок отца: – У сына твоего имя есть!

– Какого еще сына? – не понял Иван Фомич. – У мужа моего, – продолжала смеяться как ни в чем не бывало Вера.

– Мужа?! – Глаза Ивана Фомича налились презрением и насмешкой: – Двоеженец он, а не муж! С одной бабой поваландался, с другой, а бабы, дуры, детишек ему рожают. Да я бы на их месте!.. – он вытянул узловатую руку вперед и, крепко, до боли сжав кулак, так, что пальцы побелели, наглядно показал, чтоб он сделал на месте женщин.

– Все б тебе воевать, – отмахнулась Вера. – Лучше б свадьбу сыграл.

– Чего?! – поперхнулся на слове Иван Фомич.

– А что?! Не заслужила я, что ли, как у людей?

– Ты, девка, вот что заслужила: вожжами по заднице! И брысь от меня, пока я вконец не озлился...

Вера, насмешливо покачав головой: эх, мол, отец, дурень ты дурень, – направилась к Гурию, а Иван Фомич, досадливо сопя, достал из рюкзака большой тук просмоленного шнура и стал потихоньку распутывать его.

– Ну-ка, Важен, держи! – он подал один конец внуку. – Да держи крепко, понял?! – Важен, радостный и польщенный, что дед поручил ему настоящее взрослое дело, ухватился за шнур обеими руками. – Вот так, – похвалил его Иван Фомич, а сам стал распутывать шнур дальше.

Повесив ведро с гудроном на толстую жердь над костром, Ванюшка с Валентином вновь подошли к деду:

– А шнур зачем? – спросили с интересом.

– А шнур затем, что щели-то надо законопатить сначала, – показал Иван Фомич на лодку. – И только потом гудроном заливать. Что толку, если вы сверху залили, а внутри – дыра?

– Ага, я ж тебе говорил! – развернувшись к Валентину, закричал Ванюшка брату.

– Чего ты мне говорил? – презрительно усмехнулся Валек.

– Что надо паклей сначала. А ты?!

– Нет, ребята, пакля тут не пойдет, – прервал их спор Иван Фомич. – Тут шнур нужен крученный, вот как этот, – показал он. – И просмолить его надо прежде. Да хорошенько. А когда в воде он разбухнет, то так щель закупорит – комар носа не просунет.

Ребята понимающе переглянулись.

– Ну вот, шнуром прошпаклюем сейчас, а потом гудрончиком зальем – изнутри и снаружи, – лодчонка как сказка будет. Поняли, ребята?

– Поняли! – в один голос закричали братья. И Важен тоже поддержал их:

– Поняли, поняли!

Дед повеселел на глазах и потрепал внука по русым, выгоревшим волосам:

– Ну-ну, ишь ведь, растешь... ну-ну!

Пока они (кто конопаткой, кто стамеской) заделывали на дне и бортах лодки щелястые прогалины, Гурий, изредка подкладывая дровишки в костер, длинным черпаком мешал в ведре гудрон; гудрон медленно наливался жаром, пыхал и побулькивал, пока наконец не превратился в жидкую единообразную массу.

– Скажи отцу: готово, – Гурий показал Вере на ведро.

– Сам и скажи! – весело-насмешливо обронила Вера.

– Чего ты? – нахмурился обидчиво Гурий.

– А чего? – она делала вид, что ничего не понимает. Гурий обиженно отвернулся от нее, крикнул Валентину:

– Валек! Скажи Ивану Фомичу: готово.

– Дядя Иван, готово! – повторил Валек слова отца, хотя Иван Фомич прекрасно слышал, что прокричал Гурий.

– Иди скажи ему: пусть еще покипит малость, – буркнул Иван Фомич.

– Ага, хорошо, дядя Иван! – Валентин стремглав бросился к отцу, Ванюшке тоже захотелось передать отцу приказание Ивана Фомича, он бросился следом за братом, и тут они умудрились столкнуться – стукнулись лбами, да сильно, и от боли чуть не взвыли в один голос. Но усилием воли сдержали себя, только переругивались лениво да морщились.

Иван Фомич поглядел на них, усмехнулся: молодцы, ребята, крепки на калган, как говорили у них в детстве. И что интересно: Важен стоял рядом с братцами и тоже, как они, растирал лоб ладошкой.

– Ты-то что дразнишься, клоп? – упрекнул его сквозь слезы Ванюшка.

– Не, я не дразнюсь. Я тоже! – горделиво произнес Важен и начал еще усердней тереть лоб, будто там была шишка.

Все так и прыснули от смеха, сразу легче стало на душе.

Гудроном заливал щели Иван Фомич сам. Самодельной черпалкой (длинная палка, а на ней намертво примотана проволокой пустая консервная банка) захватывал из ведра кипящий вар и тонкой осторожной струйкой, не спеша, методично, заливал щели, туго проконопаченные просмоленным шнуром. Гудроновые швы получались у Ивана Фомича как ровнехонькие кра-

сивые дорожки, бегущие то по дну, то по бортам лодки: любо-дорого посмотреть. Нос лодки Иван Фомич залил погуще, поосновательней, чтоб уж совсем полная надежность была. А когда гудрон застыл, лодку перевернули, и теперь Иван Фомич залил кипящим варом все щели уже с внешней стороны.

Через час Иван Фомич прошелся гудроном по второму кругу – для большей надежности. Потом на два дня оставили лодку на берегу – просыхать, проветриваться, прокаливаться на солнце. А когда на третий день спустили лодку на воду, она поплыла по Чусовой как игрушка: ни одной капли не просачивалось внутрь.

– Ур-ра! – первыми закричали Ванюшка с Валентином.

– Ура! – поддержал их Важен.

– Ур-ра! – подхватила и Вера. Гурий молчал, только улыбался робко.

А Иван Фомич, сидя в лодке, за веслом, зачерпнул широкой ладошкой водицы, испил, как из ковшика, сказал весело:

– Ну, пацаны, смотри, чтоб нынче рыбой нас угостили! Ущицей первоклассной!

– Ур-ра! Угостим! Ур-ра! – кричали в восторге ребяташки.

В тот вечер они и в самом деле сварили на костре уху – из окуней и ершей. Правда, не было с ними у костра Ивана Фомича – ушел к вечеру домой, хозяйство не ждет, требует ухода. Так что у костра сидели впятером: Ваня, Валентин, Важен, Вера и Гурий. До утра почти сидели... Один только Важен к полуночи умаялся, заснул на фуфайке.

А ухой все же угостили Ивана Фомича. Вера отлила из ведерка ущицы в котелок, отнесла утром отцу на пробу. Иван Фомич уху похвалил, ел с азартом, аппетитно причмокивая.

Не знал он, что уху варил Гурий, а то вряд ли бы вырвалось из него хоть одно похвальное слово...

Еще больше, чем сам Гурий, переживала за него родная мать – Ольга Петровна. Долгие годы проработав в школе, учительницей географии, она безраздельно властвовала в душе сына, и пока он рос тихий, послушный, вежливый, внимательный, она считала себя самой счастливой матерью на свете. Но вот сын вошел в пору юности, и для Ольги Петровны начались тревожные дни. Не то что бы Гурий стал грубить или не слушаться, просто однажды он вдруг замкнулся в себе, перестал делиться с матерью сокровенными мыслями и мечтами, подолгу бродил где-то – то по улицам Северного, то по лесу (а это было небезопасно – одному по лесу, переживала мать, мало ли что может случиться). И не знала, конечно, Ольга Петровна, не догадывалась, что уже тогда в душе сына начали брезжить неясные и мучительные образы, какая-то тайная и властная сила требовала, даже диктовала ему, чтобы он не смел думать о себе, как о простом смертном, ему даровано природой чувствовать и понимать жизнь так, как мало кому дано из людей. Душа его, словно обожженная неведомым огнем, изнывала под гнетом особых чувств и переживаний, то есть он воспринимал и чувствовал жизнь совсем не так, как, скажем, воспринимали ее сверстники или даже взрослые люди, которых он знал и встречал до сих пор. Гурия в прямом смысле мучило ощущение трагичности жизни, душа его изнывала под тяжестью этого ощущения, ему странно было видеть и понимать, что все люди вокруг живут так (или делают вид, что живут так), будто нет никакой смерти на свете, а значит, нет трагедии существования, нет обреченности, нет той тяжелой и мрачной безысходности, которая и есть суть человеческой жизни. Но, с другой стороны, чем больше проникалась его душа трагедийным самоощущением жизни, тем сильнее и явственней он замечал и прелести, и радости, и свет непосредственной жизни. Он не умел принимать участия в этой радостной жизни, сторонился веселых компаний, развлечений, смеха, открытых ясных отношений между людьми; да, не умел и не хотел принимать в этом участия, но самое эту радость жизни принимал душой, понимал ее, воспринимал с тайным восхищением, а порой и с завистью к тем, кто открыто радовался жизни и пользовался ее дарами. Одно то, как страстно, например, хотелось Гурию поцеловать красивую девочку

Лизу, и то, что впервые ему удалось поцеловать девушку только в институте, через много лет после мучительных юношеских переживаний и вожделений, уже это говорит о Гурии немало. И вот эта двоякость его внутреннего состояния, раздвоение души, может, и были той причиной, которая далеко удалила его от матери, от ее девственных и неглубоких представлений о нем, о сыне, как о совсем еще маленьком, глупом и чистом мальчике. Нет, он не был глуп и давно перестал быть маленьким, ибо познал мучение от страшной догадки: жизнь – трагедия, но как она прекрасна! Как она мучительна в своей красоте, прелести, загадочности и в том вожделении, которое трепещет в каждом человеческом сердце!

Как он жаждал одиночества в те годы!

И как, одновременно, ему хотелось обладать всем, буквально всем в этом мире, что несет в себе чувственную радость, наслаждение и философскую глубину!

Вот причина его юношеского одиночества, вот почему подолгу бродил он по улицам Северного, с болью в душе ощущая, как он глубинно и жестоко одинок. В то же время в каком-то неистовом восторженном блаженстве Гурий упивался красотой и нежностью женских лиц, их плавными и чувственными движениями, линией их ног, талий, груди, изгибом их прекрасных лебединых шей: женщины были и остались для него на всю жизнь загадкой из загадок... Итак, он подолгу бродил по улицам Северного или с таким же упоением бродил по лесу, уходил на Малаховую гору, забирался на Высокий Столб, и здесь открывалась ему вторая тайна жизни – сама природа, ее красота, беспредельность новизны ее, сложности и очарования. Каждый листик или лепесток был полон загадки, нес в себе ту же тайну, что совсем недавно открылась ему в людях: жизнь – трагедия, но как она прекрасна!

Ах, если б он умел выражать свои чувства в словах, он, возможно, окунулся бы с головой в писание стихов, как делают это тысячи и тысячи юношей, но догадки свои и внутренние открытия он лишь ощущал сердцем, язык его был нем и беспомощен, и писанием стихов, слава Богу, он не занялся. Но другим даром, кажется, наделила его природа: с какого-то времени, почувствовал он, рука его неудержимо потянулась к карандашу, он стал делать наброски, эскизы, рисунки; впрочем, в этом не было, казалось бы, ничего удивительного: он и в раннем детстве, и даже в отрочестве недурно рисовал, то есть не рисовал, а неплохо копировал то, что видел перед собой, но тогда это было чем-то механическим, произвольным, а теперь подключилась душа, и именно потому, что она подключилась, рисунок стал меньше даваться ему. Он исстрадался из-за этого противоречия: чем лучше и глубже он чувствовал натуру, тем хуже и бледней получался эскиз. Поразительно!

Он стал резок, невозможен в разговорах с матерью; до прямых грубостей не доходило, но, Боже мой, его замкнутость, холодность и неожиданные вспышки раздражения были для матери хуже открытой грубости и брани. Ибо как она могла смириться с тем, что ее тихий вежливый послушный мальчик вдруг превратился в глубоко страдающего человека. Она это чувствовала, хотя причину его страданий не понимала, а потому не могла понять и принять его неожиданную холодность и резкость.

Вообще мать Гурия была в определенном смысле уникальная женщина. Всю жизнь проработав в школе и с почетом уйдя на пенсию, будучи строгой, требовательной и педантичной в работе, Ольга Петровна обладала странной особенностью: она не понимала детей. То есть практически, конечно, никто не знал об этом, даже сама она вряд ли до конца осознавала такую простую истину, и тем не менее это было так: детей она не понимала. Они были чужие для нее, больше того – она боялась их, не могла смириться с тем, что они никогда не слушаются взрослых, что им нужно говорить и объяснять одно и то же двадцать раз на день, что в голове у них постоянные глупости и баловство, что никто из них всерьез не думает о будущем, и так далее, и так далее. Соответственно и школьники относились к ней как к пустому месту, верней – как к нереальному существу: вот она есть, конечно, их учительница, но одновременно как

бы ее и нет, они не воспринимали ее слова, наставления и строгости вполне серьезно, слова учительницы отскакивали от них, как барабанные палочки от барабана.

Но еще больше, чем учеников, Ольга Петровна не знала и не понимала их родителей. Воспитавшая сына сама, в гордом одиночестве (отчего и почему – это особый разговор), Ольга Петровна воспринимала мужчин (отцов детей) как грубых и неотесанных существ, особенностью которых было то, что они совершенно подавляли своих жен; и жены, вместо того чтобы тонко и умно воспитывать детей, занимались только домашним хозяйством и ублажением мужей-мужчин, куда входило (нет, не только стирка и готовка пищи) и потаканье таким слабостям мужчин, как выпивка, курение, матерщина, грубость, оскорбления и рукоприкладство.

Мужчин Ольга Петровна просто-напросто боялась.

Женщин, живущих с ними, не понимала: как они могут спокойно переносить издевательства и глумление не только над женским началом жен, но и над собственными детьми?!

Не понимала и не принимала Ольга Петровна и детей: несерьезные, глупые, невоспитанные, никого не уважающие, ни о чем не думающие... Боже мой!

И какой же вывод? А вывод простой: Ольга Петровна не знала жизни. И только по одной причине: жизни этой она боялась.

И вот странное дело: женщина, которая считала себя умной, вежливой, тактичной, образованной, глубокой, в действительности представляла из себя забитое и испуганное существо, главным стремлением которого было, во-первых, оградить родное дитя, сына, от всех возможных и невозможных напастей, а, во-вторых, оградить и себя от всего сложного, непонятного, грубого и трудного в жизни, то есть оградиться от самой жизни. Неудивителен поэтому тот образ жизни, который она вела почти все годы в Северном: полное затворничество. Соседи, даже самые близкие соседи – ну хоть Салтыковых взять, хоть Варнаковых – были для Ольги Петровны загадочными существами: их грубые неотесанные будни, вечная забота о хлебе насущном и только о нем, полное отсутствие тяги к культуре, нередкая взаимная ругань, вплоть до мордобоя, и тут же шумные перемирия, кончающиеся общей гульбой и пьянкой, – что могло быть страшней и непонятней для Ольги Петровны?

И потому, когда взбунтовался ее собственный сын, вначале тихо и неприметно, а затем явно и недвусмысленно, Ольга Петровна буквально впала в панику. Как жить? Что делать? Как спасти их такую спокойную, понятную им обоим, культурную и вежливую жизнь?

Но эту жизнь спасти уже нельзя было. Сын вырос, сын потянулся за самим собой, за собственным смыслом бытия, который так просто не дается в жизни, за него нужно платить полной мерой – призванием, талантом, судьбой, наконец.

Вот почему так поспешно ринулся Гурий во взрослую жизнь, то есть поначалу, конечно, не совсем во взрослую, а в студенчество. Он должен был уехать от матери, освободиться от ее домашнего изнуряющего плена, который убивает все первородное и истинное в собственной натуре; нужно было найти себя; нужно было спасти себя. И Гурий уехал в Москву, поступил учиться в педагогический институт на художественное отделение. Мать, поначалу напрочь убитая бегством сына (так она воспринимала отъезд Гурия), вскоре сумела найти для себя некоторое утешение; утешение заключалось в мысли: нет, не зря я столько лет учительствовала, зерно упало в добрую почву, сын пойдет по моим стопам, станет педагогом, учителем, будет наставлять и направлять бездумную молодежь на праведную дорогу...

Но если б сын сам мог найти эту праведную дорогу в жизни!

Хорошего учителя из него не получалось.

Художником он не стал.

Первая семья развалилась.

Вторая семья держалась на честном слове.

Как жить?! Как найти себя, свой смысл, свое назначение?!

Вот и метался Гурий в душе своей из пустого в порожнее, мучился, страдал безмерно. И разве мать не чувствовала его страданий?

Чувствовала, но мало понимала их. Да и понять не могла, ибо не понимала главного – жизни. А не понимала ее по прежней простой причине – не умела принимать, видеть и чувствовать ее такой, какова она в действительности, а не в воображении, не в мечте.

Вот и смотрела сейчас Ольга Петровна на взрослого сына, порядком уже полысевшего, состарившегося, осунувшегося и поблекшего, как на некое непонятное загадочное чудо: что же это за человек такой, ее сын? отчего он мучается? что ему надо? почему никогда и ни в чем не принимает моих советов? не признает моих мыслей? не разделяет моих взглядов?

Одно только то, что Гурий, однажды приехав из Москвы в поселок, ни с того ни с сего сделал предложение Ульяне Варнаковой, молодой взбалмошной вздорной соседке, да чего греха таить – просто недалекой и глупой бабе, одно это ввело Ольгу Петровну в кошмарный шок на долгие-долгие годы. И никак не могла она привыкнуть, что обыкновенные ее соседи по огороду, Наталья и Емельян Варнаковы, люди простые, грубые, давней заводской и одновременно крестьянской закваски, – эти люди теперь ее родственники. Нет, не хотела этого принимать Ольга Петровна, и как жила прежде в одиночестве, так и продолжала жить еще большей затворницей, никого не признавая за родственников, кроме самого Гурия. Об Ульяне и говорить не приходится. Кто она была для Ольги Петровны? Подлая совратительница, окрутившая Гурия и заставившая его жить вместе с ней. К внукам – Валентину и Ванюшке – она относилась терпимей, то есть понимала, что они – сыновья ее сына, но сердцем не могла поверить, что в них течет общая с ней кровь. Она, конечно, разрешала им бывать в своем доме, но, странное дело, внуки никогда не стремились к этому, даже тогда, раньше, когда у Гурия с Ульяной все было хорошо, когда они приезжали в Северный одной семьей: Ульяна с детьми жила с родителями, а Гурий – где хотел: хоть у матери, хоть у тестя с тещей. А когда у Гурия семья разрушилась и он связался совсем уж немыслимо с кем – с другой соседкой, с молодой и тоже недалекой Верой Салтыковой (мало ему в Москве достойных женщин?! обязательно надо деревенщин выбирать, о, Господи!), – тут уж Ольга Петровна совсем в доме притаилась, как таракан в щели, никуда носа не показывала. То, что отныне и Иван Фомич Салтыков, мужик молодой, борода-тый, страшный, дикий в гневе и в пьяном похмелье, теперь тоже ее родственник, вконец доконало Ольгу Петровну, а попросту говоря – свалилась Ольга Петровна в постель, заболела. А там и другие прелести начались: новый внук появился, Важен. К этим-то варнакам, Валентину с Иваном, никак не могла привыкнуть Ольга Петровна, так теперь еще один, Важен, к тому же незаконнорожденный...

Бог ты мой, к такой ли старости готовила себя Ольга Петровна?

К такой ли судьбе предназначала своего единственного сына, когда столько лет берегла и лелеяла его?

О том ли мечтала в жизни?

Все пошло прахом...

И тем не менее, видя, как мучается Гурий, даже вот сейчас, в этот его приезд, Ольга Петровна, давно изболевшись сердцем, продолжала переживать за сына так, будто он оставался прежним, маленьким и беззащитным мальчиком. Обе его семьи, жены, дети, обязательства перед ними ничего для нее не значили, кроме одного: они терзали ее мальчика, и это было для нее главное знание и мучение. Вот почему однажды она сказала сыну (впрочем, она пыталась сказать это не раз, да сын не слушал ее):

– Гуринька, маленький, может, тебе плюнуть на все и остаться жить с твоей мамочкой?

Гурий побледнел как полотно и долго смотрел на мать пристальным горячечным взглядом: может, она просто сумасшедшая? невменяемая? не от мира сего? Если нет, откуда тогда такая юродивость в словах? такая кротость взгляда? такая невинность в улыбке? И из губ его вырвалось жестокое, страшное, убийственное восклицание:

– О Господи!!! – после чего он с немыслимой силой хлопнул дверью и выбежал вон из дома.

Опять он бродил по лесу, метался, как загнанный зверь, на этот раз без альбома и карандашей, к черту все! Душа его изнывала от чувства полного бессилия и проигрыша в жизни; казалось бы, он ни в чем не виноват перед жизнью, во всяком случае, изначально не виноват, и все же судьба его катится вперед так (а может, не вперед она катится, а в пропасть?), что повсюду, как вехи, остаются события, главный смысл которых: виноват в этом! виноват в том! виноват в пятом! виноват в десятом! Везде и всюду и во всем – виноват, виноват. Разве можно жить спокойно и размеренно, работать полноценно и нравственно при этом постоянном, изнуряющем чувстве вины?

Да и вины в чем?! перед кем?! за что?!

Непонятно, непонятно...

А от этой непонятности жить на свете еще трудней, еще невыносимей...

И вдруг он слышит: голоса в лесу; стук топора; вжиканье пилы. Выходит на пригорок – и что же видит? Вон, совсем недалеко, на крохотной делянке, взявшись за ручки пилы, разделяют кряжистую сосну Иван Фомич с Верой; видит даже капельки пота на взопревшем лбу Веры. Раскрасневшаяся, в легком цветастом сарафане, Вера работает весело, азартно, с упоением, а Иван Фомич, спокойный, уверенный, иногда поправляет дочь: «Не дергай, не дергай, плавней держи...» Неподалеку от них тюкают двумя топорами Ванюшка с Валентином; один стоит на одном конце сваленной наземь сосны, другой – на втором. Стоят на ногах крепко, уверенно (видать, обучил этому дед, не иначе), а крепость и уверенность нужна тут потому, что рубят они сучки очень острыми, надежными в деле топорами (сам Гурий, конечно, ни за что не доверил бы топоры сыновьям). Каждый из пацанов, широко расставив ноги, стоит над сосной так, чтобы ствол был между ступнями; шаг за шагом, метр за метром продвигаются они вдоль лежащей на земле сосны и отрубают сучки верными расчетливыми движениями; причем рубят правильно, от комля – к вершине. Важен тоже рядом вертится, но дед следит за ним, иногда покрикивает:

– Эй, пострел, а ну-ка топай к нам, не лезь к братцам под топор!

И как ни хочется Бажену быть рядом с Ванюшкой и Валентином, деда он слушается, да к тому же и в самом деле боится топора. Впрочем, он не в обиде на деда, потому что тот разрешает ему ставить клеймо на полутора-двухметровых бревнах. Разделяют сосну Иван Фомич с Верой, сложат бревна в небольшую кучку, а Важен ходит с головешкой от костра и ставит на торцах клеймо. Клеймо такое: с одной стороны – крестик, с другой – галочка. И крестик, и галочка Бажену даются легко, а чтоб еще лучше получалось, он высовывает изо рта язык.

– Эй, парень, язык не проглоти! – кричит ему иной раз дед.

– Не, не проглочу. Вот он! – И Важен, весь чумазый, перепачканный в саже, показывает им длинный розовый язык. Вера, любуясь сыном, ласково улыбается ему, а ребята, оторвавшись от работы, вытирая со лба пот, смеются над ним:

– Эх ты, клоп, посмотри на себя, на чертика похож!

– Сами вы шертики, – пыхтит Важен, продолжая сосредоточенно и серьезно ставить на свежих торцах угольные кресты и галочки.

Ах, как болит в эти минуты душа у Гурия; даже не душа, а именно сердце, так и покалывает, покалывает его мелкими иголками. Почему бы это? Сам не знает. Ощущение такое, что вот она, жизнь, рядом, совсем рядом, идет своим чередом, а ему, Гурию, как бы и нет в этой череде места.

Но почему же нет?

Гурий выходит из своего укрытия (но разве он прятался? нет! просто они, занятые каждый своим делом, долго не замечали его) и, петляя между соснами и березами, вдруг появля-

ется на делянке, как по волшебству. Первым его замечает Важен и со всех ног бросается отцу навстречу; Гурий подхватывает его на руки, Важен жмется к отцу, обнимает его крепко-крепко обеими ручонками и перемазывает ему щеки и нос, и Вера, завидев их обоих, таких чумазых и смешных, начинает весело хохотать:

– Господи Боже мой, истинные чертенята! Посмотрите на них!

Смеются над ними и Ванюшка с Валентином, один только Иван Фомич смотрит на Гурия настороженно-недоверчивым взглядом: этот, мол, откуда еще взялся здесь?!

– Папа, – подходит к нему Валентин, – ты сучки умеешь рубить?

– Ага, умеешь? – спрашивает и Ванюшка.

И спрашивают горделиво: мол, мы вот умеем, а ты?

– Да вроде рубил в детстве, – отвечает Гурий.

Опустив на землю Баженчика, Гурий подходит к густоветвистой сосне, берется за вострый топорик и, широко расставив ноги меж кряжистым стволом, начинает рубить толстый сук. С непривычки ничего не получается: тюк да тюк, а тонко-золотистая кора скользит под лезвием топора, никак не дается сучок.

– Да ты не так, – говорит Ванюшка. – Угол держи наклонный. Вот так! – И он показывает другим топором, как именно надо делать.

– Ага, понял, – с азартом подхватывает его слова Гурий и начинает рубить несколько иначе; и теперь, кажется, получается: сук отваливается на землю, а по вискам Гурия текут обильные дорожки пота.

– Ладно, чего встала? – неожиданно резко говорит Иван Фомич Вере. – Держись за пилу, поехали!

– Может, мне с вами попробовать? – вдруг предлагает Гурий Ивану Фомичу, оторвавшись от топора. – Все же силешки побольше будет?

– Силешки-то? – прищуривается насмешливо Иван Фомич. – Может, и побольше. Да с Верой оно сподручней... – Нет, никак не хочет Иван Фомич идти навстречу «зятю».

– Ну и ладно, – соглашается Гурий. Странное дело: на душе у него становится легко, даже весело, хотя он чувствует настороженность и недоверчивость Ивана Фомича. Да привыкать, что ли? А вот кровь от работы действительно разогрелась, разыгралась у Гурия, и он, вновь взявшись за топор, лихо и молодецки рубанул по толстому сучку. Эх, да как неудачно!.. Топор скользнул по шелушащейся коре и сыграл по ноге Гурия. Кровь так и брызнула из раны! Гурий удивленно смотрит на ногу, Ванюшка с Валентином от неожиданности побледнели, Важен расплакался – видать, от страха, завидев кровь, а Гурий стоит, кривя губы то ли от боли, то ли от растерянности.

Первой, кажется, пришла в себя Вера, бросилась к Гурию:

– Быстро, быстро, скидывай брюки!

Гурий непослушными руками с трудом снял с себя брюки; враз набухшие от крови, они цепко прилипали к телу. Вера посмотрела сюда, посмотрела туда, крикнула:

– Ванюшка, снимай рубаху! Ну, живо!

Тот сразу все понял, скинул с себя рубашку; Вера распластала ее на узкие полоски – в виде бинта – и начала быстро заматывать Гурию рану. Но кровь шла густо, просачиваясь через тонкую материю.

– Валек! Давай еще твою! – приказала Вера.

И снова распластала рубаху на лоскуты – теперь уже Валентинову, а когда стала бинтовать ногу, почувствовала: кто-то толкает ее в бок.

– Ну, чего? Чего? – раздраженно обернулась Вера. Господи, а это Важен стоит рядом, тоже скинул с себя рубаху и сует матери.

– Ах ты, глупышок! – говорит она. – Спасибо, спасибо, сынок, уже не надо... – и даже времени нет в этот момент улыбнуться, усмехнуться: рубаха у Бажена, как и сам он, напрочь перепачкана в саже и вряд ли может пригодиться.

Когда кровь перестала сочиться, все, конечно, облегченно вздохнули. Вера сидела рядом с Гурием, отходила от нервного напряжения. Подошел Иван Фомич, посмотрел с презрением на Гурия, сплюнул в сторону:

– Р-работничек, язви его!

– Не надо, папа, – попробовала защитить Гурия Вера.

– А, да идите вы! – махнул рукой Иван Фомич и, подхватив пилу, зашагал домой.

Артельная, такая слаженная и веселая, работа была на корню загублена.

Через неделю Гурий уезжал в Москву.

Он уезжал, а семья его оставалась здесь, в Северном. И Ванюшка с Валентином оставались, и Важен, и Вера. Всех вместе Вера привезет в Москву осенью, к началу школьных занятий.

Конечно, у Гурия была формальная причина ехать: он должен был, как всякий преподаватель, явиться в школу заранее, подготовиться вместе с другими педагогами к новому учебному году. Но в том-то и дело, что уезжал он совсем не поэтому. Не мог он больше жить в Северном, где всем было хорошо – и сыновьям, и Вере, – только ему одному жить здесь представлялось нелегко. Нет, он тоже любил свой родной поселок, вырос в нем, но продолжать жить в подобной сумятице семейных отношений просто-напросто был не в силах.

Не в силах был жить рядом с матерью. Это просто непереносимо.

Не в силах жить и рядом с Иваном Фомичем Салтыковым, который открыто презирал Гурия. Несмотря на то, что Вера родила от Гурия сына и жила с Баженом в доме отца, Иван Фомич не хотел признавать за Гурием никаких прав на свою дочь и на своего внука. Мало ли кто от кого родит, мало ли по каким неведомым тайнам зарождается жизнь, – все это не имеет никакого отношения ко всяким проходимцам и прохвостам, вроде Гурия Божидарова.

Не в силах был Гурий жить и рядом с другими соседями, Натальей и Емельяном Варнаковыми, в доме которых каждое лето, как пчелы в родном улье, поселялись – и поселялись на законном основании – его сыновья Ванюшка и Валентин. И здесь были совсем другие причины, почему он не мог жить рядом с Варнаковыми, прямо противоположные тем, из-за которых он не мог жить рядом с Салтыковыми. Если Иван Фомич знать не знал Гурия и не хотел признавать его за «зятя», то Варнаковы, наоборот, только и мечтали о том, чтобы у Гурия с Ульяной все наладилось, они не питали никакого зла к Гурию, больше того – любили, уважали и боготворили его: уже за одно то уважали и превозносили, что он был далеко не чета поселковым жителям, он был выше, образованней, умней их – рисовал картины, был художником.

Как мог продолжать Гурий безмятежно жить в поселке в такой семейной неразберихе и сумятице?

К тому же он ощущал себя не только семейным банкротом; может быть, в семейных своих делах он в конце концов как-то разберется (и он верил иногда твердо: должен разобраться и разберется обязательно, иначе как жить дальше?), а вот как быть с более сложной и трудной проблемой – его творчеством? Кто он, Гурий Божидаров, художник ли он? Сможет ли в конечном итоге реализовать себя, выразить через искусство свою суть, сердце свое и душу? Дано ли ему от Бога?

Вот почему уезжал Гурий Божидаров в Москву; вот отчего бежал и вот к чему стремился.

Вера восприняла его отъезд спокойно; она была молода, хороша собой, смешлива, весела, энергична... она верила в себя, в свою звезду. К тому же она, как никто другой, наверное, понимала и чувствовала Гурия, хотя сам он вряд ли догадывался о полноте и глубине ее чувства к нему, понимания его души. По его представлениям, она была все-таки недалекой жен-

щиной. И по представлениям многих других людей – тоже. Но она любила его, а если любишь – понимаешь и принимаешь в душе любимого все. Все!

Вот она и осталась в Северном, с тремя ребяташками: один свой, Важен, а двое Ульяниных – Ванюшка и Валентин. И ничего – весела была, радостна, кипела энергией. Надо же, счастливая женщина!



Семья Баженовых: отец Виктор Авдеевич, мама Татьяна Андреевна, сестра Элеонора, старший брат Юрий и Георгий – 4 года. 1950 г.



Прощание с детским садом. Гера Баженов – крайний справа. Поселок Северский, Урал, 1953 г.



1-й класс. Баженов – крайний слева во втором ряду. Урал, 1953/54 г.



Старший брат Юрий, сестра Элеонора, Георгий – воспитанник Свердловского суворовского военного училища, 1959 г.



Друзья детства: Виктор Конюхов, Владимир Тельминов, Володя Федюнин



16 лет



Институт иностранных языков, переводческий факультет, группа № 105 (Баженов – крайний слева во втором ряду), г. Горький, 1965 г.



У общежития института. Крайний справа – Баженов. 1965 г.



Первая жена – Любовь Федоровна Баженова (Абрамова). Безвременно ушла из жизни в возрасте 25 лет



Любовь и Георгий Баженовы с дочерью Майей. Урал, 1969 г.



Бабушка и внучка. Майя с бабушкой Верой Михайловной Абрамовой. 1970 г.



Лучшая подруга жены Любы – Татьяна Заболоцкая. Поньше верный друг семьи Бажено-
вых



Индия. Бомбей 1967 г.



Семья друга-переводчика Эдуарда Чехалова: жена Ирина, дочери Тома и Саша



Индия. Баженов – переводчик английского языка



С другом инженером-переводчиком Гари Осокиным и его женой Дитой. Индия, 1967 г.



Индия. В пещерах Эллары (Баженов – в центре), 1968 г.



Прощание с индийской красавицей Султаной. Штат Махараштра. Индия, 1968 г.



Индия. Пещеры Аджанты и Эллоры. Группа переводчиков. Баженов – второй слева.
1968 г.



Литературный институт. Диплом вручает Владимир Лидин. 1973 г.



Египет. Пирамида Джосера. Баженов – переводчик английского языка. 1974 г.



Африка, Египет. Ливийская пустыня. Май 1974 г.



Жена переводчика Леонида Горбика – Алла, директор фирмы «Агат-МедФарм». Неустанная хранительница очага – братства выпускников Горьковского института иностранных языков



С осетинским писателем Гастаном Агнаевым



Киев. С писателем Иваном Евсеенко



Группа писателей на Севере во главе с Сергеем Залыгиным. Сентябрь 1981 г.



С женой Людмилой в гостях у писателя Николы Радева и его жены Райны. Никола Радев – в центре. Болгария, 1981 г.



С поэтом Виктором Макукиным, его женой Тamarой и их друзьями. Брянщина, июнь 1980 г.



В редакции местной газеты «Северский рабочий». Редактор Сомов В. А. и корреспонденты Евгений и Алексей Кожевниковы. Урал, 1985 г.



С художником Владимиром Смуруженковым и сыном Ваней. 1986 г.



В гостях на Брянщине болгарская писательница и переводчик Венета Георгиева



Дочь Майя, сыновья Валентин, Иван и внук Андрей. Москва. Парк Лианозово. Рядом – Музей художника Константина Васильева.



Жена Людмила Ивановна Баженова (Аникеева), дочь Майя, сыновья Иван и Валентин.
Новороссийск, июль 1982 г.



Брянщина. Деревня Подгородняя Слобода.



Сыновья Валентин и Иван. 1985 г.



Валентин с бабушкой Валентиной Ивановной Аникеевой, 1976 г.



Деревня Подгородняя Слобода
Август, 1987 г.



Брянщина. Река Сев. Сын Иван с Евгением Чичериным



Семья жены Татьяны. Киргизия, 1990 г.



Тётя жены Татьяны – Наталья Федоровна Михайлова



Зять Эдуард Моргун с сыном Михаилом. 1984 г.



Сестра Элеонора со своим мужем Эдуардом Моргуном. Сибирь, Тюмень



Тётя жены Татьяны – Наталья Федоровна Михайлова



С женой Татьяной и сыном Баженом. Киргизия, Фрунзе. 1990 г.



Сын Бажен на рыбалке. Река Сев. Лето 1990 г.



С Дочерью Майей и внуками Андреем и Любой





Деревня Гидеево на Владимирщине. С сыном Баженом и зятем Николаем Романовым



Сын Бажен с бабушкой Евдокией Григорьевной Лёвиной



С сыновьями Валентином и Иваном



Центральный дом литераторов.

С женой Татьяной и поэтом Тимуром Зульфикаровым



Перedelкино.
С писателем Борисом Екимовым



Подруга Жены Ольга Герасёва



Подруга жены Ольга Залипаева



Подруга жены Нина Тремасова



Аня в гостях у художника



С Надеждой... 1992 г.



Музы художника



Музы художника





Жена Татьяна



Муза художника

Глава V

В Москве Гурий первым делом приехал к Ульяне.

– О, какие гости! – воскликнула та: то ли насмешливо воскликнула, то ли растерянно – Гурий не понял. В махровом застиранном халате, с неприбранными волосами, с желто-припухшими подглазьями и приметными морщинами по уголкам губ, Ульяна выглядела уставшей и постаревшей. Обкатали Сивку крутые горки.

– Ну, что смотришь? Не нравлюсь? – усмехнулась Ульяна. – Проходи, гостем будешь. Давненько муженька не видала...

Гурий не торопясь разделся, прошел на кухню.

– Чай будешь? – спросила Ульяна и, потуже запахнув халат, уселась напротив Гурия, по вечной женской привычке подперев лицо ладонями.

Гурий промолчал.

– А может, водочки? – усмехнулась Ульяна. Вот теперь усмехнулась откровенно, можно было не сомневаться.

– Не для этого пришел, – обронил Гурий. Хотя, положила руку на сердце, выпить он был не прочь.

– Неужто пить бросил, муженек? Надо же, обрадовал наконец женушку.

– Хватит паясничать! – оборвал Гурий. – Лучше бы спросила: как там дети твои, в Северном?

– А что дети? – Ульяна поднялась с табуретки, поставила на плиту чайник. – Знаю, что все с ними нормально. По-другому и быть не может.

– Откуда ты это знаешь? Ни одного письма сыновьям не написала.

– А откуда и знаю, муженек, что вы с Веркой в лепешку разбиваетесь, чтоб угодить им. Чует кошка, чье мясо съела.

– Ловко устроилась. Значит, мы еще и виноваты перед тобой? Вера виновата?

– А кто же еще? Отбила мужика у бабы, теперь в святые записалась? Ах-ах-ах!

– Да никого она у тебя не отбивала. Сама мужика выгнала.

– Выгнала. Правильно. Не нужен мне алкоголик и бездельник. Но я выгнала, чтоб муженек исправился. О детях подумал. А не для того, чтобы некоторые расторопные умыкнули отца от сыновей.

– Да если б ты знала, сколько раз Вера заставляла меня вернуться к тебе!

– Неужто? Что-то я не замечала такого...

– Потому что я сам, сам не хотел возвращаться!

– Еще бы. Легко ли от молодой аппетитной бабенки оторваться?

– Да не было у нас тогда ничего, не было!

– Ну да, пацан у Верки от беспорочного зачатия родился, – усмехнулась Вера; в это время закипела на плите вода, Ульяна быстро ошпарила фарфоровый чайник, сыпанула побольше индийского чая, добавила в него багульника и залила кипятком: по кухне поплыл душистый аромат...

Ульяна поставила на стол чашки, блюдца, конфеты в изящной хрустальной вазочке; нарезала белый хлеб тонкими ломтиками, достала из холодильника сливочное масло и пошехонский сыр:

– Угощайся, муженек!

– Спасибо, не откажусь. – Гурий, честно сказать, проголодался и был не против съесть пару-другую бутербродов и попить домашнего чайку с вкусной шоколадной конфетой.

Какое-то время сидели молча, пили чай; в кухонное окно, как прежде, как много лет назад, заглядывала густо-зеленая ветка акации с желтыми цветочками; иногда от ветра она

тихонько стучалась в стекло, будто просила пустить ее в гости. Странно: в природе словно ничего не изменилось, а как много случилось перемен в человеческой жизни, в их жизни... И в то же время вот сидишь так, пьешь чай, в окно ветка акации заглядывает, напротив Ульяна устроилась, и вдруг покажется, померещится, будто и не было никакого недавнего прошлого, ничего не было, это только приснилось или привиделось; странно, очень странно...

– Знаешь, Ульяна, – сказал он неожиданно проникновенно, с чувством, – давай сделаем все по-хорошему, а?

– Что именно-то? – Ульяна, надо сказать, ни в какое размягченное состояние не впала и говорила по-прежнему то ли с насмешкой, то ли с недоверием, не разберешь.

– Давай разойдемся по-мирному – и все!

– Я с тобой и так всегда по-мирному.

– Почему тогда не даешь развода?

– А почему я должна давать его?

– Но ведь я все равно не живу с тобой. Сколько уже лет...

– Ничего, вернешься, как миленький. Никуда не денешься.

– Да зачем я тебе? У меня давно другая семья...

– Мне-то ты не нужен. Правильно. Плевать я на тебя хотела. А вот детям ты нужен. Сыновьям.

– Я и так у них есть. Куда я от них денусь?!

– Э, нет, дорогой. Им отец настоящий нужен. Не приходящий, не на стороне. А рядом. Всегда рядом. Ты что, не понимаешь: это не девчонки, это пацаны, за ними мужской присмотр нужен, глаз да глаз, понятно? Если, конечно, не хочешь, чтоб из них хулиганы или бездельники выросли.

– Не вырастут, не беспокойся.

– Может, и не вырастут, если будешь рядом с ними. Ты оглянись вокруг-то? Что делается кругом? Видишь?

– А что? – не понял Гурий.

– Э-э...эх! – сокрушенно покачала головой Ульяна. – Совсем ничего не видишь, художник?

– Да ты конкретно говори, без этих своих! – повысил голос Гурий.

– Куда уж конкретней. Жизнь разваливается повсюду, а он, как глухарь, все токует: что да что? где да где? как да как?

– Сто лет уже твердят: жизнь разваливается. А она ничего, держится пока...

– То-то такие, как ты, сыновей бросают, в пьянство ударяются, шашни на стороне заводят, детей незаконнорожденных плодят. И все ничего не происходит?!

– Ты Бажена не трогай. Куда там – незаконнорожденный... Да он был бы сто раз по закону рожден, если б ты мне развод дала.

– Не дам, не надейся!

– Ну, и чего ты этим добиваешься?

– А ничего. Сказала тебе: у моих сыновей должен быть отец. И он будет у них.

– Раньше надо было думать об этом.

– Раньше?! – неожиданно взвилась Ульяна. – Да когда раньше? Когда ты пил, бездельничал, нюни распускал?! Ты зачем меня в Москву привез? Зачем женился? Зачем детей заводил? Чтобы гроша ломаного за душой не иметь и мазюкать свои гнусные картины? Кому они нужны? Да и вообще, кого ты строишь из себя? Скажите на милость: не понимают его! А что ты умеешь делать, кроме как корчить из себя художника? Ты мужиком, мужиком должен быть прежде всего, хозяином, отцом, а ты превратился в дешевого забулдыгу и слюнтяя! И мне нужно было терпеть это?! За что, за какие грехи? Да мне плевать на тебя на такого! Не то что спать, стоять с тобой рядом противно было. Вот и вылетел из моего дома, как пробка...

– «Из моего...» – усмехнулся Гурий. – Дом-то общий, на всех получали...

– Может, ты еще и жилплощадь у сыновей отобрать хочешь?

– Да не нужна мне ваша жилплощадь. Ничего не нужно. Мне развод нужен, больше ничего.

– Развод не получишь. Накось выкуси! – И Ульяна показала мужу грубый кукиш. – Я тебя выгнала, чтоб человеком сделался. Чтоб одумался. Осознал. Сыновей вспомнил. И теперь, когда ты стал нормальный мужик, деньги стал хорошие зарабатывать – я по алиментам вижу! – теперь, значит, отказаться от тебя? Ну нет, шалишь!

– Да не ты ведь меня таким сделала. А Вера...

– Верка?! – нервно рассмеялась Ульяна. – Нет, хрена! Верка только подобрала тебя, а человеком сделала тебя я! Если б я тебя не выгнала, не встряхнула мозги хорошенько, не сделала бы тебя бездомным, никакая Верка тебя не изменила бы. Она только подобрала, где плохо лежало, а человеком ты стал благодаря мне. Мне!

– Надо же, как я стал котироваться в женском стане, – произнес насмешливо Гурий. – И чего вы за меня ухватились, не пойму?

– Не знаю, чего Верка ухватила, хотя нет, знаю: чужое-то, оно всегда слаще, к тому же на готовеньком всякий норовит проехаться, задарма-то, а про себя повторю: сыновьям отец нужен, и я не позволю, чтобы они были сиротами при живом папаше!

– Да как я к тебе вернусь-то, дура?! – закричал Гурий. – Ты подумай-ка! Как буду жить с тобой после всего случившегося?

– А со мной не надо жить. Не заставляю. Я и без тебя перебыюсь. Мужичьего вашего поганого добра повсюду навалом, не беспокойся. Не со мной – с детьми будешь жить, понял?

– Что я тебе, бестелесный, без сердца, без души, без желаний, робот, что ли? Да я видеть тебя не могу.

– Чего тогда пришел?! – в бешенстве закричала она.

Долго он не отвечал, пристально смотрел на Ульяну: надо же, думал он, когда-то я обнимал эту женщину, любил, целовал, детей от нее завел, а теперь даже пред ставить себе не могу, как это все было... Как будто в другой жизни, на другой планете, в другом времени и пространстве... Как же так?!

– За разводом пришел, – наконец повторил Гурий в который уже раз.

– Развода не получишь!

– Не получу?

– Не получишь!

– Ну и ладно.

На этом их чаепитие закончилось, и Гурий, не солоно хлебавши, направился к выходу.

– Когда ждать-то? – вслед ему насмешливо бросила Ульяна.

Он обернулся к ней, покачал укоризненно головой, но, так ничего и не ответив, молча вышел из квартиры.

С того дня, как Гурий впервые переночевал в общежитии, с ним стало происходить что-то странное. Не то что бы повлияли на него разговоры с молодыми ребятами и девчонками или, скажем, имел значение сам пьяный загул, нет, не в этом дело; просто в душе Гурия как будто что-то стронулось, сдвинулось с места. То он жил в своем мире, собственными заботами и проблемами, только и думал, как сделать, чтобы ничто внешнее – семья, школа, просто окружающая жизнь – не отвлекало его от творчества, жить и писать – и больше ничего, – вот что главное. И вдруг среди этих ребят в общежитии, а еще верней – утром, после пьянки, Гурий и почувствовал, что никому не интересно и не нужно то, чем он живет. То есть не в том дело, что они, ребята, тупы или бездарны и не могут понять его творческих исканий, его души, а

в том, что они не испытывали потребности в понимании или познании того, чем он, Гурий, занимался всю свою жизнь.

А ведь Гурий, как тысячи художников, всегда тешил себя мыслью: он нужен народу, рано или поздно, но будет нужен, люди нуждаются в творцах, в выразителях народной идеи, народной стихии, иначе как тогда и зачем жить на свете? И вот почудилось ему здесь, в общежитии, что люди как раз очень просто могут обходиться без всего этого, потому что само искусство потеряло то значение, которое должно иметь в жизни. Искусство живет как бы по своим законам, очень внутренним, очень эгоистичным (вот хоть работы Гурия взять, как представителя такого искусства), а люди живут совсем по другим законам. Ибо современное искусство никак не выражает и не отражает нынешней жизни, а нынешняя жизнь никак не питает и не вдохновляет современное искусство. Так или не так?!

Нет, не получалось все-таки у Гурия выразить в словах свое ощущение. Как-то примитивно, топорно выходило.

А истина-то проще: не нужен Гурий никому – ни со своим художеством, ни со своей душой. Не интересен. Безразличен. Как будто тень среди людей. Среди людей, у которых реальные заботы. Реальная жизнь.

Или вот еще как почувствовал Гурий: они, те простые парни и девчонки, чем-то неизмеримо выше его. Естественней. Проще. Жизненней. Правдивей. А он, Гурий, как ни странно и ни стыдно это понимать, значительно ниже их. В его усложненности нет истины. А есть одна только видимость. Обман. Фикция. Иллюзия.

Они – правда.

А он – ложь.

Вот что он почувствовал тогда, если говорить совсем прямо.

Они – правда. Хотя они и проще, и примитивней его.

А он – ложь. Хотя он и сложнее, и образованней их.

Разве не измучает такое открытие? Разве останешься спокойным, когда поймешь подобное о себе?

Вот и стронулось что-то в душе Гурия, сорвалось, сдвинулось с места. Вдруг ни с того ни с сего, с точки зрения Ульяны, забросил он всякое рисование, стал пропускать занятия в школе, начались стычки с начальством, все чаще исчезал он из дома, бывало, и ночевать не приходил, а когда Ульяна устраивала скандал, он, ничего не говоря и ни в чем не оправдываясь, пропадал уже на несколько дней. Возвращался неизвестно откуда, грязный, опухший, небритый, с бездумными глазами.

Ульяна ничего не понимала.

Пробовала переменить тактику – разговаривала с Гурием по-хорошему, по-доброму.

Результат тот же.

Пробовала по-другому – разговаривала жестко, требовательно, скандално.

Получалось еще хуже. А когда голову потеряешь, мало что хорошего бывает в семейных отношениях. Да тут еще сыновья без конца болеют... Да у самой нелады на работе (в детском саду нехватка по кухне)... Вот и срывалась иной раз Ульяна так, что от бедного Гурия только тень с глазами оставалась. То есть стоял перед ней, хмельной, грязный, поникший, только что руки по швам не тянул, и хлопал глазами, ничего не говоря в оправдание, ни слова.

– Да ты что, – кричала Ульяна, – совсем с ума сошел, что ли?! Если спятил, так я могу в сумасшедший дом устроить, вон он, рядом! – и кивала за окно.

Гурий молчал.

Как он мог объяснить ей свою душу?

Да если б и мог, где взять такие слова, которые для Ульяны показались бы убедительными, а не вздорными, болтовней или сумасшествием?

И он молчал.

– Нет, ты мне скажешь, ты мне ответишь, – бесновалась Ульяна, – ты мне расскажешь, где шляешься! с кем пьешь! по каким притонам ночуешь! В дом – ни копейки, а на пьянку находится? Ах ты ублюдок, ах ты художник чертов, говори, говори!

Он продолжал молчать, виновато свесив голову.

И однажды она не выдержала – ударила его кулаком по лицу. И так это у нее ловко получилось – ударила его кулаком снизу, прямо в подбородок, что Гурий свалился с ног как подкошенный.

– Господи! – всплеснула руками Ульяна, и тут вдруг на мать из детской комнаты бросился Ванюшка, стал в истерике бить ее по животу острыми кулачками:

– Вот тебе, вот тебе! Ты за что папку, за что, за что?!

Ульяна и сама испугалась: не прибила ли мужика? – потому что он лежал на полу как мумия, пожелтевший, неподвижный. Она слепо, как кутенка, отшвырнула Ванюшку в сторону и бросилась на кухню; схватила чайник, подбежала к Гурию и давай поливать на него.

Удивительней всего: Гурий не только очнулся, но стал ловить струю воды пересохшими губами (с похмелья был), и Ульяна, осознав это, сразу забыла про свой испуг и еще больше взбеленилась:

– А, опохмелиться охота? Головушка забубенная болит? Ножки не держат? Ну, я опохмелю тебя! – и, сняв крышку с чайника, окатила Гурия с ног до головы холодной водой.

Вот уж когда он очнулся враз и полностью! Вскочил на ноги как ошпаренный.

– Ты чего? Что? Чего? – вытаращив глаза, бормотал Гурий.

Ульяна стояла чуть в стороне, смотрела на него насмешливо-холодными глазами и качала в презрении головой:

– Ты посмотри, на кого ты похож! Черт в окаянную ночь – и то краше! Посмотри, посмотри, полюбуйся на себя! – и, схватив за руку, потащила к зеркалу в прихожую.

Да, вид у Гурия был неважнецкий: растрепанные волосы, желтушное лицо, черные круги под глазами, сине-запекшиеся губы, затравленный взгляд... И как смотрит-то на себя? Исподлобья, недоверчиво, будто сам не может понять: он ли это, его ли это рожа в зеркале?

– Хорош, хорош, нечего сказать, – прокомментировала картину Ульяна.

А Гурий ведь опять ничего не говорил, молчал.

– Ну так вот тебе мой сказ, – жестко, решительно произнесла Ульяна, – еще раз повторится – выгоню! Напьешься или из дома пропадешь, мне все равно, – выгоню, и точка!

Гурий продолжал исподлобья смотреть на себя в зеркало. Так же исподлобья взглянул и на жену.

– Чего смотришь? Не понял меня? – в упор спросила Ульяна.

Гурий кивнул: понял. Хоть кивнул – и то ладно. Ульяна удовлетворенно хмыкнула:

– То-то! – и тут же подтолкнула в спину младшего сынишку, который продолжал вертеться около них: – А ты иди, ступай к себе в комнату, играй. Нечего под ногами у взрослых путаться.

– А ты папку не обижай! – вступился было за отца Ванюшка.

– Я вот тебе сейчас покажу: не обижай! Я тебе сейчас... – Ульяна стала оглядываться по сторонам, как бы ища ремень или плетку, чтоб хорошенько проучить маленького защитника: не лезь, мол, не в свое дело...

– Думаешь, я ремня испугался? – отважно спросил Ванюшка.

– Ладно, иди, иди, – погладил его по голове Гурий. – Поиграй пока... Чего ты...

– Папа, ты сколько раз обещал в шахматы научить... Научи, а?

– Сейчас, что ли? – поморщился Гурий: голова трещала ой как...

– И то верно: научил бы пацанов играть, – заметно смягчила гневный тон Ульяна. – Парнишки тянутся к тебе, а ты...

– Ладно, пойдем, – согласился Гурий и шаркающей походкой, как старик, поплелся с Ванюшкой в детскую комнату.

Между прочим, в тот день Ульяна сжалась над Гурием – за обедом сама налила ему стопку:

– На, опохмелись, христовый.

Гурий недоверчиво скривил губы в улыбке: то ли радостная получилась улыбка, то ли заискивающе – подбострастная.

Выпил, посветлел лицом, помягчел душой.

Да, хороший в тот день обед получился: вся семья за столом сидит, все едят весело, с аппетитом. Раньше так часто бывало, а теперь все реже и реже. И сыновья смотрели на отца с матерью с любовью, с гордостью: как им хотелось, чтобы между родителями всегда были мир и согласие!

А через неделю Гурий опять сорвался.

Он, правда, не давал никаких обещаний Ульяне, и особо сознательной мысли у него не было, чтобы идти наперекор Ульяне. Просто все получилось, как получилось, – ни больше и ни меньше. Да и что могло измениться во внутреннем состоянии Гурия, даже и после угроз Ульяны, если все мысли и чувства, которые мучили Гурия, остались прежними: мысли о ненужности самого себя, как художника, как личности. Тут никакие угрозы никаких жен помочь не могут.

А пил он, как ни странно, чаще всего в общежитии: отчего-то как магнитом тянуло его туда. Поначалу и ребята, и девчонки относились к нему с любопытством, он был для них чужаком из другого мира, из другого теста, но постепенно они привыкли к Гурию и практически не обращали на него внимания. Тем более что обычно он всегда молчал, а вот послушать чужие разговоры – любил, будто надеялся, что в этих разговорах откроется ему особая правда, особая истина. Иногда, действительно, его словно током пронзало, особенно если он выпивал побольше: вот она – истина! Ну, например, когда ни с того ни с сего Оля, скажем, Левинцова, говорила: «Ах, жизнь держится только на женщинах!» – или Валя Ровная небрежно бросала: «А, никто не знает, зачем на свете живем!» – или Оля Корягина говорила: «Главное для человека – здоровье!» – или Таня Лёвина заявляла: «Свадьба – это насмешка над любовью!». Казалось бы, все это были банальные слова, каких каждый из нас слышит тысячи на дню, но почему-то Гурию они представлялись иной раз откровением, отгадкой сложнейших загадок. А дело, конечно, заключалось в том, что Гурий был просто пьян, и чем пьяней он был, тем значительней и интересней казалось каждое слово, услышанное здесь, в общежитии. Все эти девчонки и парни представлялись Гурию необыкновенно умными и проницательными, и он часто хлопал в ладоши (иногда и невпопад), когда слушал их разговоры.

Сначала это всем нравилось. Это забавляло.

Потом стало надоедать. И утомлять. Потому что каждый раз заканчивалось одним и тем же: Гурий непременно устраивался на коврике рядом с чьей-нибудь кроватью и, свернувшись калачиком, подложив ладони под щеку, засыпал. И засыпал крепко – разбудить его пьяного было трудным делом, почти невозможным.

Иногда он просыпался сам, чаще всего по странной причине: если неподалеку от него находилась Татьяна Лёвина, девушка с большой красивой и нежной грудью. Гурий инстинктивно открывал глаза и, обнимая икры Татьяны, осыпал их поцелуями: «Мадонна, мадонна!» Жалкая была картина, и Татьяна, как ужаленная, выдирала ноги из противных объятий и вне себя кричала Вере:

– Слушай, убери своего поганого земляка, или я прибью когда-нибудь его каблуком!

Но как только Татьяна отсаживалась от Гурия подальше, он тут же вновь проваливался в сон; и главное – позже, когда просыпался окончательно, никогда не помнил, что обнимал

ноги Татьяны. Очень переживал из-за этого, смущался, бормотал какие-то невнятные извинительные слова.

Но вообще он все чаще и чаще надоедал девчонкам, и уже не раз и не два то Леша Герасев (жених Ольги Корягиной), то Володя Залипаев (жених Ольги Левинцовой) буквально брали Гурия за шкуру и выбрасывали вон из комнаты; особенно если не было рядом Веры Салтыковой, которая все-таки жалела незадачливого земляка и иногда вступалась за него.

Так и продолжалось порой: из дома Гурия выгоняла жена, а отсюда, из общежития, – то ребята, то девчонки.

Правда, нередко на Гурия находили минуты просветления: он хоть и пил, но как бы совсем не пьянел, сидел где-нибудь в уголочке, слушал разговоры, загадочно улыбался и был похож на блаженного чудака, и как-то не было ни у кого сил сказать ему грубое или резкое слово, тем более прогнать.

И еще была одна особенность у Гурия: после того как все уходило на работу, он принимался за уборку; дома, в собственной квартире, Ульяна ни за что не могла заставить его что-то сделать, пол вымыть или пропылесосить ковер, а здесь, в чужом общежитии, в чужой комнате, он занимался этим с удовольствием. Особенно любил после уборки протирать обувь: каждый женский сапожок, каждую туфельку начисто протрет влажной тряпичей, потом – сухой, потом крем нанесет какой нужно, нужной расцветки, а потом еще и до блеска доведет бархоткой. Хоть и вызывало это у девчонок некоторую неприязнь, но все же они не могли запретить Гурию чистить обувь: ладно, пусть старается, раз ему так хочется.

Одна только Татьяна Лёвина не позволяла Гурию прикасаться к ее туфлям и сапогам: всегда запирала обувь в шкаф, а ключ уносила с собой на работу.

Еще одну слабость имел Гурий: любил сдавать бутылки, которых накапливалось в комнате видимо-невидимо; впрочем, накапливалось не только в их комнате, но и по всей квартире. И, разумеется, мало кто противился, чтобы Гурий расчищал углы от бутылочных завалов. А Гурий, сдав бутылки, теперь уже как бы на законных основаниях устраивал пиршество в комнате. Конечно, деньги были не такие большие, и Гурий на них покупал обычно пиво, уж пива-то можно было набрать много. Любил с Гурием попить пивко Володя Залипаев, который, кстати, сразу прощал Гурию все его недостатки. Во-первых, Залипаев обожал пиво, во-вторых, Гурий был лучшим его слушателем. Главная тема разговоров за пивом: Красноярск – лучший город в России или не лучший? Гурий говорил: лучший. И Володя Залипаев подтверждал: лучший. В доказательство Володя показывал фотографии, рассказывал об Енисее, о знаменитых Столбах, о том, как однажды на этих Столбах разбился известный альпинист, прямо на глазах у Залипаева. «Верить?» – спрашивал он у Гурия, и Гурий честно отвечал: «Верю!» Штука-то вся была в том, что если Гурий сходил с ума от творческого бессилия, то Володя Залипаев – от тоски по родине, по Сибири: никак не мог смириться со своей внезапной жизнью в Москве. А кто его гнал сюда? Да никто! А вот как-то так выходило: вся страна куда-то стронулась, и он тоже стронулся с родного места... Да, брат, тоска! И, конечно, в такие дни, когда они пили вместе пиво, Володя никогда не позволял себе брать Гурия за шкуру и выбрасывать вон из комнаты. Наоборот, он даже охранял сон Гурия, если тот неожиданно сползал со стула на пол, устраивался на коврик у чьей-нибудь кровати – чаще всего рядом с кроватью Татьяны Лёвиной – и, свернувшись калачиком, моментально засыпал. Порой Володя садился рядом с Гурием, прикрывал его какой-нибудь курткой или половичком, а сам продолжал рассматривать незабвенные виды Красноярского края в фотоальбоме.

Но уж если в такой момент возвращалась с работы Ольга Левинцова или Татьяна Лёвина – ну, тут начинался сыр-бор! Ольга терпеть не могла, когда жених, как бочка, заряжался пивом, а Татьяна – когда на ее коврик спал Гурий; ладно бы спал, а то как она сядет на кровать – сразу просыпается и за ноги хватает: «Мадонна! Мадонна!» Черт знает что... Тут уж девчонки объединялись и обычно взашей выталкивали обоих «ухажеров» из комнаты – и Гурия, и Володю

Залипаева. Да, брат, вздыхали они оба, такие дела... И шли куда-нибудь пьянствовать вдвоем: деньги у Володи водились, и он нередко угощал Гурия...

После аборта и исчезновения из ее жизни Сережи Покрышкина Вера Салтыкова совершенно изменилась: из веселой, улыбчивой, жизнерадостной девчонки превратилась в странно-тихую, задумчивую и болезненную на вид женщину. Особенно вот этот переход был замечен: из девчонки – в женщину. Ничто, казалось, теперь не радовало ее, не задевало, не вызывало особых эмоций. Даже то, что ей, единственной из всех девчонок, выделили отдельную комнату в коммунальной квартире, даже это прошло как бы мимо ее сознания. (А выделили именно ей по единственной причине – она была признана лучшей молодой рабочей во всем ремонтно-строительном управлении.) Правда, комнату она все-таки посмотрела. Вместе с Ольгой Левинцовой съездили на квартиру, познакомились с соседями. Люди как будто были неплохие: в одной комнате – муж, жена, двое ребятишек, в другой – тоже муж с женой, но пожилые, без детей, третья комната – ее, Верина; комната чистая, теплая, уютная. Вообще квартира была прибранная и ухоженная; широкий коридор; большая светлая кухня. Живи да радуйся. Но Вера сказала Ольге:

– Нет, не могу я здесь...

– Ну почему, что ты? Переберешься, обживешься...

– Да я с ума сойду здесь от одиночества! – чуть ли не всхлипнула Вера. – Ну, приеду, ну, закроюсь здесь, как дура, а дальше что? Реветь целыми вечерами?

– Но не отказываться же от такого рая? – Ольга обвела рукой комнату.

– Для меня тут не рай будет. Ад, – сказала Вера.

– Ну, не век же будешь терзаться по Сереже...

– Оля! – с болью в голосе воскликнула Вера.

– Ладно, ладно, не буду... – Ольга тут же повернула разговор в другую плоскость: – Ну, хорошо, бери ордер, а жить будешь пока с нами.

– Может, вообще от комнаты отказаться?

– Ты что, совсем дура, что ли?

– И уехать домой, на Урал...

– Ага, там ждут тебя не дождутся. Папочка с мачехой. Соглашайся на комнату, пока не поздно!

Ордер получишь, пропишешься, а жить можно где угодно... Мы ведь тебя не прогоняем!

– Ну, зачем, зачем мне жить здесь?!

– А затем, что надо жизнь свою устраивать. Всем надо жизнь устраивать, а не нюни распускать...

На том и порешили пока: ордер Вера получила, в комнате прописалась, а жить продолжала в общежитии, с девчонками, – до лучших времен.

И вот как однажды получилось – возвращается Вера с работы, а около общежития, в скверике, в буквальном смысле валяется Гурий Божидаров. Рядом с ним стоит милиционер, трясет Гурия за плечо.

Первое движение Веры было – проскочить мимо: знать ничего не знаю, видеть ничего не вижу, но тут же глубокая волна стыда окатила ее с ног до головы, даже щеки у Веры, – почувствовала она, – горячо запылали, и она на деревянных ногах развернулась и направилась в сквер, к беседке.

– Что, знаете его? – кивнул милиционер, как бы совсем не удивившись, когда Вера подошла к ним.

– Да, – продолжая пылать щеками, кивнула Вера.

– Откуда он, из общежития?

– Нет, это земляк мой, с Урала. В гости к нам приходит.

– Хорош земляк, – усмехнулся милиционер, оценивая окидывая взглядом стройную фигуру девушки.

– Он вообще-то неплохой человек. Талантливый. Только у него семейные неурядицы.

– И ты, значит, решила приглубить семейного неудачника? – грубо пошутил младший сержант, переходя на «ты».

– У вас жена есть? – неожиданно поинтересовалась Вера.

– А что? – усмехнулся милиционер.

– А то, что я бы и вас приглубила. Корягой по загривку. Если и вы неудачник, конечно.

– Ну ты, соплячка! – взвился младший сержант. – Смотри у меня! Счас вот акт составлю на твоего земляка...

В это время Гурий Божидаров, кажется, начал приходить в себя; во всяком случае, слышав разговор и узнав голос Веруньки Салтыковой, с трудом разлепил веки и обрадованно пробормотал:

– А, ребята... А я тут к вам шел... да вот, устал немного.

– Ну, забираешь его? Или мне им заняться? – напустил на себя побольше строгости милиционер.

– Ладно, идите, идите... Мы тут сами разберемся, – отмахнулась от него Вера.

Секунду-вторую младший сержант еще колебался, а потом плюнул («Возись тут с этой пьяню!») и отправился своей дорогой.

Мимо как раз проходили ребята из соседней квартиры, помогли Вере подхватить Гурия под руки и доставить его в целостности-сохранности на третий этаж. Гурий не сопротивлялся, только бормотал умиленно-восторженно: «Хорошие мои... золотые... настоящие... Да, вы настоящие, а мы все подлецы... да, подлецы... мы народ обманываем, эх, обманываем...»

В комнате Гурий почти сразу уснул, причем на полу; как ни упрашивала Вера его раздеться и лечь по-человечески, ну хоть вот на ее кровать. Гурий ни за что не соглашался. Мычал и бормотал что-то свое, а лег все равно на полу, на коврик рядом с кроватью Татьяны Лёвиной.

Именно у Татьяны и лопнуло в тот вечер терпение, когда она вернулась с работы и в который раз увидела пьяного художника, спящего на ее коврике в обнимку с ее сапогами (да и как он обнимал ее сапоги? – с умильной блаженной улыбкой, даже во сне, вот что противно...). Татьяна завелась прямо с порога:

– Слушай, Вер, или разбирайся со своим земляком, или я сама сдам его в милицию!

По тому, как девчонки в комнате начали отводить взгляд от Веры, она поняла: они тоже согласны с Татьяной.

– Девочки, куда же я его? – растерянно проговорила Вера.

– Куда хочешь. Он нам вот так надоед! – полоснула Татьяна Лёвина по горлу.

Видимо, это было всеобщее ощущение, потому что никто в комнате не встал на сторону Веры, а уж тем более на защиту Гурия Божидарова.

– В конце концов, у него жена есть, – жестко проговорила Татьяна. – Семья. Дети. И нечего здесь притон устраивать.

– Жена выгнала его из дома, вы же знаете!

– А нам какое дело?

– Ну что теперь, на улицу его выставлять?

– Зачем на улицу? Сходи к жене – пусть забирает его. Или я, честное слово, вызову милицию и сдам его в вытрезвитель. Ну, раз, ну, два, три привели его, но надо же и честь знать! Устроил среди баб лежбище. И вообще, девчонки, я вам давно хотела сказать: хватит в комнате притон для мужиков устраивать. Да, да, Олечка, это и тебя касается, и тебя, Ниночка, и тебя, Корягина, хоть Леша твой и милиционер. Продыху нет от мужичья, от козлиного их духа. Замуж – так выходите замуж, а то потешатся вами, а потом и бросят, вон как Покрышкин Веру бросил...

– Ну зачем ты так! – заступилась за подругу Ольга Левинцова.

– Ох, Танька, – покачала головой и Валя Ровная, – останешься ты со своими закидонами старой девой!

– Ты о себе печалься, обо мне не беспокойся – сама побеспокоюсь! – отрезала Татьяна. И, подойдя к лежащему на коврикe Гурию, закатила его, как бревно, руками под кровать. При этом брезгливо поморщилась и отряхнула ладошки.

Вера Салтыкова сидела на своей кровати, как в воду опущенная, а когда ее пожалела Оля Левинцова («Девушка с улыбкой Джоконды»»), приобняв ее за плечи, Верунька вырвалась из объятий и с громкими рыданиями бросилась вон из комнаты.

Долго она бродила по улицам Москвы, успокаиваясь; один раз какой-то молодой человек (явно кавказского типа) пытался даже познакомиться с ней: «Слушай, дэвушка, зачэм плакать, зачэм нэрвничать? Давай вэсэлится, пока молодая!» – но Вера так зло и раздраженно стрельнула в него глазами, что тот сразу отвязался.

В этот момент, кажется, Вера и успокоилась. Да, именно в этот. И твердо решила про себя: надо идти к Ульяне, действительно поговорить с ней. Во всяком случае, хоть предупредить, что Гурий часто ночует в общежитии, а это надоело девчонкам. И однажды они в самом деле могут сдать Гурия в милицию.

Что хорошего будет для семьи?

В ближайшей булочной-кондитерской Вера купила гостинцев для Валентина с Ванюшкой (конфет и печенья) и вскоре стояла у двери знакомой квартиры, нажимала на кнопку звонка.

Удивительно, но, кажется, Ульяна впервые не обрадовалась, завидев Веру: смотрела на нее холодно и отчужденно.

– Можно? – робко спросила Вера.

– Входи, чего там, – буркнула Ульяна, кутаясь в шаль (ее знобило – простыла недавно).

Ребят дома не оказалось – бегали на улице, и гостинцы приняла сама Ульяна, но приняла со странной усмешкой, как бы с недоверием. Провела гостью на кухню, но ни чая, ни кофе не предложила, просто усадила за стол. Сама устроилась напротив и смотрела на Веру строго и одновременно – надменно.

– Ты знаешь, Ульяна... – начала Вера.

– Знаю! – оборвала ее Ульяна. – Пришла муженька моего защищать? Его не защищать – его выметать нужно железной метлой отовсюду! Какого черта пригреваете его в общежитии?!

– Вот я и пришла, чтобы сказать... Он пьяный у нас часто бывает, девчонки устали... Говорят, в милицию могут сдать.

– И правильно сделают. А то я, видите ли, плохая жена, из дома пьяницу гоню, а они там хорошие, жалеют и привечают его. А о том не думают, что ему давно пора с пьянством кончать и делом заниматься?!

– Да мы как раз думаем... Но что мы можем сделать?

– Думают они... Если б думали, давно бы вытолкали в шею и всех делов.

– А куда он денется?

– Это не ваша забота. Когда спать негде будет, быстро вспомнит о семье.

– Гурий говорит: ты не пускаешь его.

– Правильно говорит. Бросит пить – милости просим. А нет – пускай пропадает, как собака.

– Зря ты так, Ульяна. Можно ведь по-хорошему...

– Во, нашлась соплячка, учить меня будет! Замуж выйдешь, детей нарожаешь – тогда и слово тебе дадут. А пока разбирайся со своими сантехниками да поменьше к мужикам в постель лезь.

– Да ты что, Ульяна?! – вспыхнула Вера. – Что говоришь-то?

– А то и говорю. Совет даю, чтоб в будущем не накладно было. Поняла?

– Тебе плохо – так всех жалить надо. Так, что ли?

– Ладно, землячка, поговорили – хватит. Спасибо, конечно, о семье моей заботишься. А теперь – до свиданья. Не до гостей мне, тошнит от всех вас! – И Ульяна первая встала из-за стола, вновь кутаясь в шаль от непроходящего озноба.

Вылетела Верунька Салтыкова из квартиры Божидаровых, как ошпаренная, и опять долго бродила по улицам Москвы, не в силах успокоиться. Слезы и какая-то будто совсем беспричинная обида душили ее, и Верунька еле сдерживалась, чтобы не остановиться где-нибудь посреди улицы и не разрыдаться во весь голос.

На следующий день Гурий вновь валялся в скверике, рядом с общежитием, и Вера, с отчаяния не зная, что делать, от всей души отхлестала его по щекам, так что некоторые прохожие даже останавливались и укоризненно качали головой. Мол, разве можно так обходиться с человеком? Но поскольку все думали, что это жена расправляется с мужем, в размолвку все-таки не вступали, покачают головой и проходят дальше своей дорогой. А Гурию от пощечин полегчало, он враз протрезвел и спросил укоризненно:

– Ты чего дерешься?

– А ты чего тут валяешься?! – закричала Вера. – Что тебе здесь, лужайка для отдыха? Пляж? Сад домашний?

– Да, сейчас бы домой, в саду поваляться, – мечтательно потянулся Гурий. – А, Верка? Да пивка бы побольше, пенистого такого, янтарно-ядренного...

– Янтарно-ядренного ему! – кричала Вера. – Ты сколько еще будешь позорить меня? Ну, сколько?!

– Ты чего, Верунька, белены объелась? Когда я тебя позорил? – совсем, кажется, пришел в чувство Гурий и одним рывком усадил себя на скамейку. Твердо усадил, прочно.

– Когда... Всегда позоришь, когда приходишь в общежитие. Ты кто мне – сват, брат? У тебя семья есть, дети... Вот и иди туда, нечего тут пить да валяться!

– Значит, и с тобой дружба врозь? – усмехнулся Гурий.

– Какая у нас с тобой дружба?! Мне даже девчонок стыдно, что мы с тобой из одного поселка. Художник называешься! Пропойца, а не художник!

– А вот этого ты не трожь, – грустно произнес Гурий и опустил голову.

– Как же, не трожь! Я теперь хорошо, ох как хорошо понимаю Ульяну, почему она тебя из дому выгнала и обратно не пускает: совесть потому что потерял, вот почему. Если художник – работай, рисуй, а не пей и не валяйся под забором.

– Значит, так ты понимаешь мою жизнь? – по-прежнему не поднимая головы, задумчиво проговорил Гурий.

– Я ее и понимать не хочу. Хватит всех нас мучить. Иди домой, проспись и берись за дело, вот что я тебе скажу.

– Да, не понимаешь ты... – Гурий поднял голову, улыбнулся печально и долго, пристально смотрел в глаза Вере Салтыковой, будто силился увидеть там отгадку своих мытарств и мучений. – Мне, может, жить не хочется, Верунька, а ты: иди проспись и берись за дело.

– Кому жить не хочется, тот не живет! – жестоко выпалила Вера. – А ты вон сыт, пьян и нос в табаке.

– Это ты точно говоришь... точно... нос в табаке... эх, – опять невесело усмехнулся Гурий.

– Да и что ты болтаешь: жить не хочется! У тебя сыновья, таких хороших два парня, а ты: жить не хочется...

– А может, стыдно мне перед ними?

– Стыдно? Конечно, стыдно! Брось пить, берись за работу, и стыдиться будет нечего.

– Да не потому стыдно... Нет, не потому, что пью я. Что из дома ушел. Или что из дома выгнали, – это одно и то же. А потому, что пустой я, *пустой*, как вакуум. Нечем создавать мне, душа опустела, иссякла. Мне бы одному остаться, подумать, осознать жизнь свою, а меня, как пса, гонят отовсюду: иди туда, иди сюда, делай то, делай это, душу-то человека вы знаете?! Понимаете ее?! Чтобы иметь право помыкать ею?!

Вера смотрела на Гурия во все глаза и думала: Господи, как они слова-то умеют говорить, эти художники! Посмотреть на него – так обычный забулдыга, опухший, заросший, почерневший от пьянки, а послушать – ну прямо принц, принц из сказки! И так это ее вдруг разозлило, что она в открытой ярости и гнев закричала на него:

– Ты вот что, художник, давай проваливай отсюда! И больше чтоб тебя не было в нашем общежитии! Понял?! А не то я сама сдам тебя в милицию!

– И ты, Брут? – горько улыбнулся-усмехнулся Гурий.

– Чего, чего? – не поняла Вера.

– Ладно, Верунька, иди. Не буду я больше беспокоить никого. Иди. Вот посижу малость, подумаю и исчезну. Навсегда исчезну. Не беспокойся.

– А, да иди ты! – махнула рукой Вера и, резко развернувшись, быстро пошла в свой подъезд. Шла решительно, твердо, не оглядываясь. Душа кипела от ярости и одновременно – от бессилия.

Через час, случайно выглянув в окно, Вера изумилась.

В беседе, как ни в чем не бывало, продолжал сидеть Гурий. Причем сидел, кажется, в той самой позе, в какой Вера оставила его: свесив голову, бросив руки на колени. Что-то закаменевшее было в его фигуре, безжизненное, потустороннее. И Веру окатила волна страха. Весь этот час она провела как в лихорадке: вспоминала разговор с Гурием и то холодела от ужаса, то нервно металась по комнате. (Оля Левинцова с удивлением смотрела на Веру, но та ничего не объясняла.) Не в том дело, что Вера прочувствовала жестокость собственных слов, что была груба и беспощадна в разговоре с Гурием, а в том, что она осознала вдруг вот эти его слова: «Не буду я больше беспокоить никого. Иди. Вот посижу малость, подумаю и исчезну. Навсегда исчезну. Не беспокойся...» И теперь до нее начал доходить тайный смысл этих слов, тот подтекст, который, вероятно, скрывался, как двойное дно в чемодане, под поверхностью простых, на первый взгляд, слов и обещаний. «Неужто он мог задумать такое?!» – ужасалась Вера, вполне понимая, что, может, она и подтолкнула его к такому решению, криком своим подтолкнула, безжалостным приговором. Может быть, она, Вера, и была последней каплей, которая заставила Гурия сказать страшные слова: «Не буду я больше беспокоить никого. Иди. Вот посижу малость, подумаю и исчезну. Навсегда (*навсегда*) исчезну...» Ведь может такое быть? Может, может быть... И вот она металась по комнате, не зная, что предпринять, как исправить то, что исправить вряд ли было возможно. Где теперь Гурий? Наверняка давно исчез в неизвестном направлении. И вдруг – случайный взгляд в окно, и шоковое изумление Веры: Гурий как ни в чем не бывало продолжал сидеть на скамейке. Со всех ног бросилась Вера из комнаты и побежала вниз, пугая своим видом – растерзанная, растрепанная, с безумными глазами – встречающихся на лестнице ребят и девчонок. Выскочив из подъезда, она с облегчением вздохнула: Гурий сидел в беседке. С трудом, на подкашивающихся ногах, Вера медленно подошла к нему:

– Гурий, – тихо произнесла она.

Он поднял голову: в глазах его была тоска и безмерное отрешение. И вообще казалось, он не вполне узнал Веру.

– Гурий, ты сказал: тебе одному хочется остаться. Подумать. Осознать свою жизнь. Помнишь?

– Что? – не понял он. – Что говорил? Ты о чем?

– Ну, ты еще сказал: мне надо одному побыть. Подумать. Душа опустела. А тебя, как пса, гонят отовсюду... неужто забыл?

– А, это ты, Верунька... Ты чего вернулась-то, зачем? Я уйду, уйду, не бойся, вот посижу немного – и исчезну.

– Я что сказать-то хочу, Гурий... Ведь я, если по-человечески, могу помочь тебе. Правда.

– Ты? Помочь? Ладно, Верунька, не переживай, иди... Я скоро уже, скоро уйду... правда. Клянусь!

– Ты знаешь, Гурий, я ведь комнату получила. В коммунальной квартире. Только не живу в ней. Не могу без девчонок. Если хочешь, можешь пожить там. Можешь побыть один, подумать, прийти в себя... Только детей не бросай. Семью. Поживи один, успокойся, подумай обо всем... Может, не так все плохо, как тебе кажется?

– Плохого-то ничего вокруг нет, Верунька. Это я плохой, я. Пустой и никчемный, пропащий я человек.

– Ну зачем, зачем ты так? Я же видела твои картины. Пусть я мало понимаю в них, но я чувствую – ты талантливый. Ты добрый. Ты жалеешь всех. И сыновья у тебя хорошие. Вот и поживи один, подумай, взвесь все... Зачем отчаиваться?

– Да как я буду жить там? Что соседи-то скажут? – усмехнулся Гурий (и то, что усмехнулся, было уже хорошо: пустота в глазах исчезла, появилась ирония, насмешка над самим собой). – Кто я тебе – сват, брат? Помнишь, сама говорила...

– Соседей это не касается. Мало ли... Да хоть земляк ты мне, разве не правда? Живи себе сколько хочешь... отдыхай, набирайся сил, наслаждайся одиночеством. Ты не думай, я понимаю, иногда одиночество непереносимо, как для меня сейчас, а иногда оно – спасение, как для тебя сейчас...

Гурий с удивлением взглянул на Веру:

– Слушай, а ты не глупая девчонка. Верно говорят: кто страдания хлебнет, тот быстро прозревает.

– Ты о чем, Гурий? Ты не веришь мне?

– Почему? Верю. Но ты сама подумай: как я буду жить у тебя?

– Так и будешь: живи себе и живи. Кому какое дело?

– Хм, а что, заманчивая идея, – улыбнулся вдруг Гурий, и у Веры сразу отлегло на сердце: она почувствовала, теперь-то ничего плохого не случится, а ведь могло, могло случиться. Господи...

– Ну вот и хорошо, вот и отлично, – в открытую вздохнула Вера.

– Ах, Верунька, веришь: вот что-то здесь, – он ткнул в грудь пальцем, – будто стронулось с места. Жить размячался, работать, веришь? Странная штука: только что жить не хотелось, и вдруг – словно полный оборот солнца: осветилось все вокруг...

– Ты вот что, ты подожди меня здесь... Я сейчас быстро, туда и обратно...

– Куда ты? – не понял Гурий.

– За ключами. Чего тянуть-то? Сейчас прямо и поедem на Автозаводскую. Только, – она чуть помедлила, – ты не против, если с нами Оля Левинцова поедет?

– Девушка с улыбкой Джоконды? – глаза у Гурия по-доброму заискрились.

– Да, она, – улыбнулась и Вера.

– А она не отговорит тебя?

– Нет, Оля меня поймет. Она хорошая. Она все, все понимает...

– Разве я могу быть против? Конечно, нет, не против.

...Через пятнадцать минут они ехали втроем в нужную сторону. Правда, Оля посчитала идею Веры бредовой, но отговаривать подругу не стала: во-первых, почувствовала, что это бесполезно, а во-вторых, и в самом деле кое-что поняла.

Ехали молча, не разговаривая: каждый переживал, каждый думал свое...

В дальнейшем так и повелось у них: если Вера ехала на Автозаводскую, она всегда брала с собой Ольгу. Ездили не часто, конечно, но все-таки иногда ездили. Так, из любопытства, ну – и в воспитательных целях, разумеется. (Ох, позже, через много-много дней, как они искренне веселились, когда кто-нибудь из них во время самого обычного разговора бросал фразу-смешинку: «Нет, а воспитательные-то цели, а?!»)

Впрочем, долгое время, конечно, было не до смеха, тем более общего. Гурий встречал их хмуро, молчаливо, и не потому, что был недоволен их приездом, просто-напросто приходилось отвлекаться оттого, чем он был занят день и ночь – работой, и это не могло не вызывать его невольного раздражения. Он словно обезумел в последнее время; или, наоборот (что одно и то же) – словно прозрел. Ни минуты, кажется, не сидел без работы, без конца делал наброски и эскизы. Комната его (Верина комната) представляла из себя странное зрелище: раскладушка в углу, стол, стул – больше ничего. Все остальное, то есть свободное, пространство было завалено рисунками и набросками гуашью, углем или карандашом (за масляную краску Гурий пока не брался). Он словно торопился выплеснуть из себя все, что накопилось в душе за те бесплодные дни, которые были залиты вином или заполнены внутренним мучением, раздвоенностью души. Теперь он не останавливал себя ни в чем, набрасывал и рисовал все, что ни взбредет в голову, все, на что откликалась рука, послушная душевному велению. Казалось, горы бумаги завалили все мыслимые и немыслимые уголки комнаты, и в ней почти не оставалось места не то что гостям – Вере или Ольге, например, – но даже и самому «хозяину» – художнику Гурию Божидарову.

Может быть, он действительно возвращался к самому себе? К смыслу своей жизни? К собственному предназначению на земле?

Кто знает...

Глава VI

Теперь, после отъезда отца, имея собственную лодку, ребята частенько рыбачили на Чусовой; во всяком случае, многие ночи Валентин с Ванюшкой проводили именно здесь, на берегу реки. Конечно, опасно оставлять их одних, поэтому всякий раз с ними были то Вера с Баженом, то отец Веры, Иван Фомич, а то и дедушка Емельян Варнаков – самый желанный для ребят, самый добрый и словоохотливый. Иван Фомич – тот был строг, молчалив, требователен, хотя и справедлив, а дедушка Емельян сам как маленький, может даже побаловаться с внуками, понимает все ребячьи тайны и желания. Хорошо было и с тетей Верой: она всегда оставалась с Баженом, и младший братец оказывался для ребят как бы игрушкой, только живой, а потому очень забавной и непредсказуемой.

Важен, правда, всегда наливался гордостью и значительностью, когда его брали на рыбалку, и тем более было смешно и потешно, если этот надувшийся, как пузырь, гордец неожиданно спускал пары и враз, посреди вечернего разговора у костра, засыпал.

Важен сладко посапывал у костра, а Вера с Ванюшкой и с Валентином долго еще сидели у огня, разговаривая каждый раз Бог знает о чем – обо всем на свете. Нередко разговоры эти затягивались до утренней слепой звезды, и Веру изумляла не только выносливость ребят, но и то, о чем они говорили, о чем мечтали, о чем думали. Самое удивительное: мечты их были совсем не детские, а очень взрослые, осмысленные, как бы давно выношенные и продуманные. Например, Ванюшка, этот десятилетний серьезный малец с большими грустными глазами (словно в них застыла печаль от будущих неминуемых страданий), постоянно мечтал о том, как он, когда вырастет, обязательно поселится вот здесь, на этих уральских просторах, построит себе дом на берегу Чусовой или Северушки, а может – на берегу поселкового пруда, это уж как получится, построит сам, своими руками, и будет жить здесь до глубокой старости.

– С женой? – бывало спросит с подначкой Вера, и Ванюшка со всегдашней своей серьезностью и обстоятельностью ответит:

– С женой, тетя Вера, а как же! У меня будет жена работающая, трех сыновей родит, помощников, и заживем мы здесь так, что ни в сказке сказать, ни пером описать...

Вера озарялась загадочной улыбкой: «Ах, Господи, – думала она про себя, – если бы так... А то ведь сколько еще неожиданных поворотов в жизни, сколько всяких преград и препятствий, сколько внутренних сомнений будет и мук... А впрочем...» – и тут она начинала думать, что в принципе ничего невозможного в мечтах Ванюшки нет, все исполнимо, только бы вот душа взрослого человека оставалась такой же мечтательной и неустрашимой, как в детстве, вот как сейчас у Ванюшки и у Валентина...

Валентин, кстати, хоть и поддерживал мечты младшего брата, видел себя не столько строящим дом, сколько представлял, например, как он будет сидеть за баранкой огромного «Урала» или «КамАЗа» и подвозить разные стройматериалы к растущему на глазах дому. То есть у них даже сейчас, в детстве, происходило разделение труда: один будет строить, другой – снабжать материалами. А что оба их дома будут стоять рядом, именно на берегу реки или пруда, и что проживут братья вот так, рядом, долгие годы, вплоть до старости, в этом Ванюшка с Валентином не сомневались ни секунды. В одном была разница:

Ваня собирался жениться, иметь работающую жену и трех сыновей, а Валентин решил не жениться совсем: «Буду, – говорит, – жить с мамой, ухаживать за ней, заботиться, пусть она будет старенькая, больная – я для нее все сделаю, лишь бы не мучилась и не страдала...»

И тут у них иногда начинались споры.

– Да ты подумай, – говорил Ванюшка, – кто за ней лучше будет ухаживать: моя жена, женщина, или ты, взрослый мужчина?!

– А чем я хуже твоей жены? Я сын, я лучше знаю маму, чужой человек все равно не заменит родного.

– Моя жена – чужой человек?! – возмущался Ванюшка. – Да она у меня будет родней самых родных для мамы! Уж я такую выберу, чтоб она у меня маму любила, как свою собственную.

– Да таких не бывает, – небрежно бросал Валентин.

– Как не бывает, как не бывает?! – кипятился Ванюшка. – А у меня вот будет, вот так!

– Откуда ты такую возьмешь? Вон, оглянись кругом: кто любит чужую мать?

– А у меня будет, будет!

И Вера, слушая их перепалку, иногда с удивлением думала, что, действительно, как же мы любим своих матерей в детстве и как позже, во взрослой жизни, бываем жестоки и невнимательны к ним. Впрочем, вряд ли это относилось к самой Вере – ведь ее мать умерла, когда Вере исполнилось всего одиннадцать лет. Пять лет воспитывал Иван Фомич Веруньку один, в полном одиночестве, на шестой год не выдержал – привел в дом Марфу Кузьменкову, молодую разбитную бабенку с соседней улицы Нахимова. Марфа была веселой, энергичной, песни любила и любит петь, а то и в пляс может пуститься, когда придет минута. Казалось бы, чего в этом плохого? Чего вообще плохого в Марфе Кузьменковой, как в женщине и в хозяйке? Да ничего, конечно. Просто она была и навсегда осталась для Веры чужой, мачехой. Почему? Потому что жила в душе Веруньки память о матери, о родной, любимой, настоящей матери. Вот и вся отгадка. И не случайно, разумеется, после окончания школы подалась Верунька, как ни отговаривал ее отец, в Москву, искать собственное счастье, вдали от родного гнезда...

Вот только нашла ли?

Вера слушала перепалку двух братьев, удивлялась неожиданной взрослости их доводов и доказательств, думала о своей жизни, сопоставляя разные факты и случаи, и неожиданно, сама не зная как, проваливалась в тягучую дрему, а затем и в крепкий, обморочный сон... Бывало, очнется, отряхнет глаза – что такое: лежит уже у костра в обнимку с Баженом, и Валентин неподалеку прикорнул, подложив под голову фуфайку, один только Ванюшка бодрствует, отрешенно и самозабвенно вглядываясь в тихое, неумирающее пламя костерка. «Ложился бы тоже, эй!» – скажет полувиновато Вера, а Ванюшка в ответ: «Спите, спите, тетя Вера. Я посижу, мне на зорьке жерлицы проверять...»

И правда, так и бывало: они все спят, а Ванюшка с первым рассветным туманцем уже восседает в лодке, тихо, быстро гребет однолопастным веслом к густому потубережному ивняку, где над глубоким омутком плещет в бешеном танце крутящаяся жерлица: щука взяла! Ах, как он любил, этот маленький серьезный мужичок, брать щуку один, без помощников и галдельщиков, только мешающих сноровисто выхватить щуку из глубинных вод Чусовой! Хитра и ловка щука, но и Ванюшка в свои малые десять лет был не менее хитер и ловок: он брался за толстую крученую лесу рукой, поднатягивал ее малость и резко подсекал добычу, так чтоб двойник, а еще лучше тройник намертво впивался в плоть неудачливой хищницы; а уж дальше можно было дать ей волю... Уходя то туда, то сюда, хоть кругами, хоть резкими всплытиями и подныриваниями, щука ничего не могла изменить в своей судьбе и, как ни противилась, натужно-послушно приближалась к лодке по воле рыбака. Ах, как именно у лодки, заведев и почуяв ее огромный, страшный силуэт, пробовала щука последний свой маневр – резко ошалело поднырнуть под днище и оборвать ненавистную леску, освободиться от ее наваждённой силы! Не тут-то было... Настоящий рыбак (а Ванюшка давно был таковым) именно в такую минуту и опережает щуку, на одно мгновение, но опережает: только она слегка ослабит леску и наострится нырнуть под лодку – тут-то и надо вырывать щуку на воздух, со всей мощью вырывать, со всей страстью и азартом. И уж здесь, голубушка, хоть и будет она у тебя яростно, оскаленно извиваться на днище лодки, ничего она поделывать не сможет и никуда не денется. Придавишь ее крепко сапогом, подхватишь под жабры, надломишь лён – и лежит она у тебя как

миленькая, не шелохнется, только злыми глазищами ворочает да клацает впустую зубами... поздно, поздно, голубушка!

А бывает и так: проснутся они, а на костерке уже уха побулькивает, Ванюшка помешивает варево самодельной деревянной ложкой. Это значит: и окунишек он наловил, и щуку почистил-разделал, и пару-тройку картох в котелок бросил, и луком уху заправил. Садись завтракай!

Так и делали.

После еды Валентин, словно чувствуя внутренний укор: эх, проспал утреннюю зорьку! – садился в лодку и уплывал куда-нибудь подальше, на плёсы или, наоборот, в омутовые заводи. Ванюшка в таких случаях не противился, разрешал брату порыбачить в одиночестве до полной улады: сам знал, что такое, когда никто не мешает в лодке. Однако даже и после бессонной ночи Ванюшка не устраивался на ночлег, а шел вместе с Верой и Баженчиком на какой-нибудь тихий взгорок, брался за удочки, таскал помаленьку крупных пескарей (пескарь пойдет на живца – на крупного окуня и щуку), но чаще всего садился рядом с Баженом и серьезно, терпеливо и методично обучал его, как держать удище, как следить за поплавком и когда дергать леску... Конечно, Важен был совсем глупыш, и почти ничего у него не получалось, но Ванюшка не злился и не сердился, а только иногда улыбался и нажимал Бажену на нос:

– Эх ты, клоп ты клоп, ничего-то ты еще не умеешь...

– Я умею... – обиженно пыхтел Важен. – Сам эх ты...

Так и проходили у них летние дни в Северном: то на рыбалке, то в лесу, то на Малаховой горе, то на огороде, то в сарае за каким-нибудь подельем... Благодать, раздолье, свобода!

Славная пора – лето на родине...

Иной раз сердце у Веры сжималось, и она, положив горячей картошки в миску, полив картошку постным маслом и густо обсыпав ее золотисто-обжаренным луком, шла к матери Гурия – Ольге Петровне. Та не радовалась приходам Веры, но и не прогоняла ее. То есть оставалась как бы равнодушной, хотя частенько в глазах Ольги Петровны Вера замечала изумление, граничащее с паническим страхом. Но от чего страх? Отчего изумление? Нет, не могла понять ее Вера. Как не могла понять и того, как можно жить так отрешенно, так обособленно от всех? Было время, Вера тоже училась у Ольги Петровны географии, как и многие другие дети в Северном, но таким давним представлялось то время, что и не верилось теперь, что Ольга Петровна была действительно когда-то одной из первых учительниц Веруньки Салтыковой. Помнила ли об этом сама Ольга Петровна? Вряд ли. Во всяком случае, она никогда не обращалась к Вере как к своей бывшей ученице, с которой приятно пообщаться хотя бы потому, что она твоя, именно твоя, а не чья-нибудь еще ученица; нет, не было такого. А было полное равнодушие и безразличие, иногда сменяемое настороженностью и плохо скрываемым страхом в глазах. Чего так боялась Ольга Петровна? Чего страшилась?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.